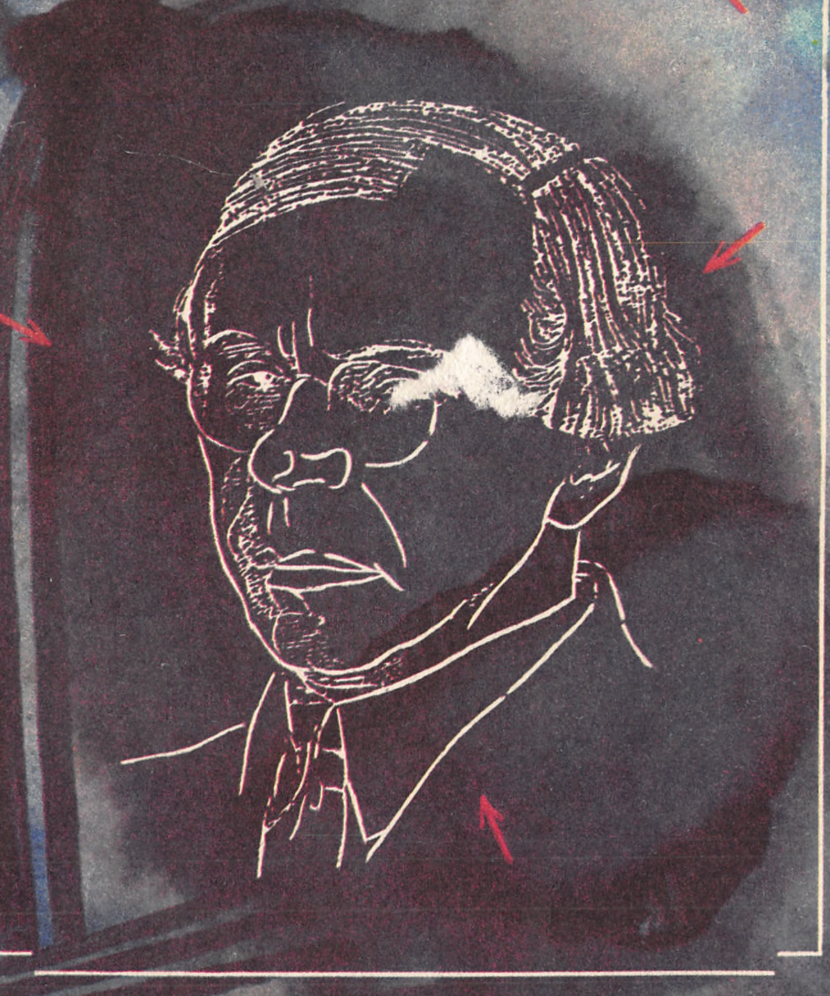
ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВ



ПОДЗЕМНАЯ МОСКВА

Глеб Алексеев

ПОДЗЕМНАЯ МОСКВА

Роман

**Москва
«Современник»
1991**

ББК 84Р7
А47

Текст печатается по изданию: Юлия, или Встречи под Новодевичьим: Московская романтическая повесть конца XIX — начала XX века. Сост., вступ. ст. и примеч. В. Б. Муравьева.— М.: Московский рабочий, 1990.

Художник *М. В. Осипова*

Алексеев Г. В.

А 47 Подземная Москва: Роман / Худож. М. В. Осипова.— М.: Современник, 1991.— 95 с.
ISBN—5—270—01447—5

Глеб Васильевич Алексеев (1892—1938) — человек сложной, трагической судьбы; один из интереснейших русских советских писателей, автор талантливых романов, повестей, рассказов, которые после его гибели в годы сталинских репрессий не переиздавались.

Захватывающий и напряженный сюжет романа «Подземная Москва» связан с поисками библиотеки Ивана Грозного — величайшей культурной ценности мирового значения, до сих пор не разрешенной тайны русской истории, по преданиям, спрятанной в тайниках подземной Москвы.

А $\frac{4702010201-077}{М106(03)-91}$ КБ—44—22—90 ББК 84Р

ISBN 5—270—01447—5

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РАЗГОВОР В ОРАНЖЕВОМ ДОМИКЕ НА НИКИТСКОЙ

Ранним утром на Большой Никитской, в той ее части, где еще тенисты сады и не гулок шум трамвая, у оранжеватого домика, облупленного годами войны и революции, как плохой слоеный пирожок, остановился неизвестный молодой человек в серых гетрах. Внимательно проштудировав надпись: «К сапожнику Суркову — один звонок, к гражданке Оболенской — два коротких звонка, к акушерке Сашкиной — два длинных звонка, к археологу Мамочкину — два звонка длинных и один короткий», он позвонил два раза длинно и один коротко. Минут пять спустя на втором этаже открылось окошко, проклеенное зажелтевшей «Беднотой»*[1], в него глянула непричесанная четырехугольная голова. Глаза головы были сонны, зрачок от сна мутен, в бороде, словно бабочки, трепались приставшие от дрянной подушки перья.

— А-а-а! — хрипловато откашлялась голова. — Я сейчас!

По лестнице, визгливо заскулившей под ногой, без перил, истопленных в голодный год, мимо ванны, выволоченной на площадку в тот же год за ненадобностью да так и оставшейся, молодой человек поднялся в комнату археолога, и тот указал ему на сколоченный из двух макаронных ящиков диванчик.

Было часов шесть утра. На Кудринской площади прошел первый трамвай, от него хлопотливо дрогнули стекла. Молодой человек нашарил в кармане трубку, большим пальцем привычно, одним движением, набил ее табаком, насыпанным прямо в карман. Закурил. Потом, от нечего делать, принялся разглядывать любопытное нутро археологического жилья. Вся правая стена была увешана

[1] Объяснения слов и выражений, помеченных «звездочкой», даны в примечаниях, в конце книги. *(Примеч. ред.)*.

очень пыльными серыми картонками, на них — обломки кремневых пряслиц, иголок из рыбьих костей, каменных грузил, молотков, топориков и других принадлежностей первобытного человека. В углу над диваном была укреп лена берцовая кость их ископаемого владельца. Рядом — прекрасная коллекция расколоченных глиняных трубок времен Тараса Бульбы, ржавый скифский кинжал, с десяток бронзовых наконечников для стрел, растерянных скифами по курганам Украины. На отдельной картонке, заботливо подвешенной под старенькой кисеей, висели две монеты с потертыми надписями «Aristoteles»; под ними рукой археолога было написано: «Русские деньги, сделанные Аристотелем Фиораванти»...

— Итак, я к вашим услугам!

Он был нескладно высок, нижняя его челюсть, опорошенная плохонькой бородкой, обнаруживала упрямство и волю, нос свисал гнилой серой картофелиной, а в щели, опутанные в брови и ресницы, просвечивали два буравчика глаз, обострившихся от одной постоянной мысли Молодой человек встал в необычайном волнении. Он подал археологу руку, потом спрятал ее в карман и снова сел.

— Продолжим наш вчерашний разговор, — сказал он.

— Этому делу, — отрывисто заговорил археолог, — я отдал всю жизнь! Вы помните, когда цари праздновали трехсотлетие, один из современных знатоков подземной Москвы профессор Стеллецкий подавал докладную записку о необходимости широчайших исследований... Ему не только не дали денег, но старались всячески затормозить работу... Я не знаю, что предпринимает сейчас профессор Стеллецкий, но я решился тогда же искать за свой риск и страх. В Собакиной башне*, против Исторического музея, я нашел наконец...

— Т-с-с!.. — молодой человек подозрительно скосился на дверь.

— Мы можем говорить спокойно. Акушерка на родах, а у бывшей княгини Оболенской со вчерашнего вечера флюс... Я нашел наконец щель, перегороженную белокаменным арсенальным столбом. Я думаю, что это и есть ход дьяка Макарьева. Он назван его именем потому, что дьяк царевны Софьи, Макарьев, был первый человек, спустившийся в подземную Москву. Наткнувшись на столб, Макарьев прекра-

тил дальнейшие поиски. Но, умирая, он открыл тайну дьяку Конону Осипову. Конон Осипов тоже умер ровно двести лет назад, 24 декабря 1724 года.

— Но она есть? — спросил молодой человек в волнении, круто ударяя на слове «она».

— Есть! — решительно подтвердил Мамочкин.

В розоватой полутьме московского утра, заползавшего в комнату сквозь неизбежные тюлевые занавески, они были похожи на заговорщиков. Всматриваясь в крепкий подбородок старика, молодой человек думал: «Этот добьется». В конце концов настойчивость — дело привычки!

— Кто ее видел? — молодой человек сделал резкое ударение на слове «ее».

— О! — вскричал, заражаясь его волнением, археолог. — Человечество никогда не могло забыть о «неведомом сокровище», как назвал библиотеку царя Ивана наш историк Забелин*. Ее видели многие. В шестнадцатом веке — Максим Грек* и Ветерман, ученый патер из Дерпта, которого Грозный пригласил «прочитать ученые книги». Ветерман спускался в подземелье, составил даже «связку», то есть каталог книг, но, испугавшись, что Грозный замурует его, как живого свидетеля его несметных богатств в подземном Кремле, уехал из России. В семнадцатом веке о библиотеке Грозного вспоминают в письмах Аркудий, Сапега, Паисий Лигарид*. Царевна Софья посылает в подземелье своего дьяка Макарьева. И тот, продвигаясь по подземному ходу, нашел сводчатую камеру с решетчатым оконцем. Он просунул в оконце свечу и увидел заваленные обвалом потолка сундуки. В существование библиотеки глубоко верил Петр I, давший дьяку Конону Осипову средства для ее отыскания, ему же, умирая, Макарьев раскрыл секрет своего спуска под землю. Но только в девятнадцатом веке, словно вняв легендам, живущим до сих пор в русском народе, о богатствах грозного царя, — апологетами библиотеки впервые выступают ученые: Дабелов, Клоссиус, Тремер*, приезжавший в Россию в 1891 году для самостоятельных раскопок, Соболевский, Щербатов и Стеллецкий*. Щербатов, бывший помощник директора Исторического музея, спускался в подземелье и даже шел его ходами. Он жив и поныне... Но где же она? — место ее пребывания до сих пор не мог точно

указать ни один человек. Грозный умертвил всех рабочих, замуровавших в землю его «в переплетах из чистого золота книги». Он понимал, что для того, чтобы сохранить библиотеку для грядущих веков, мало ее засыпать, надо еще плотно забить глиной самый коридор, «запаковать» туннель так, чтобы даже в подземелье к нему не было хода... Я почему-то думаю, что даже сам Аристотель Фиораванти...

— Что вы говорите? — вскрикнул молодой человек, бешено срываясь с диванчика.

— Я хочу только сказать, что до сих пор неизвестен год смерти отца московского Кремля, что неизвестно, где его могила...

— Вот то, для чего я из Италии... впрочем, постойте... Я убежден, что имя... имя зодчего связано с библиотекой... Найдя ее, мы вскроем наконец эту тайну... Вы понимаете теперь, Павел Петрович, какое огромное дело возникает из нашего скромного желания? Проклятые концессионеры, о которых я вам вчера говорил, не должны об этом знать... В конце концов, не только Фредерико Главич, но вся Европа заинтересована в тайнах Московского подземного Кремля. Вы понимаете?

— Я понимаю, — с твердостью отвечал старик, — у наших детей есть лозунг, которого, к сожалению, никогда не было у нас с вами — «всегда готов!». Я также готов поднять два пальца — «всегда готов!».

— Итак, руку!

— Вот моя рука!

Они встали оба и с некоторой торжественностью пожали друг другу руки. В тот же момент за стеной послышался скрип отодвигаемого стула, кто-то простонал, словно неосмотрительному человеку наступили на мозоль. Молодой человек громко рассмеялся.

— Как хотите, — сказал он, опять набивая в кармане трубку одним движением большого пальца, — мне решительно не нравится этот княжий флюс по соседству. Но — к делу! Итак, какими совершенно точными историческими данными о существовании подземной Москвы вы располагаете?

Тогда археолог начал свой рассказ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПОДЗЕМНАЯ МОСКВА?

— Итак, существует ли подземная Москва?

Не колеблясь, он продолжал с уверенною простотой фанатика:

— На каждом шагу мы попираем подземную Москву, этот зачарованный подземный мир, такой далекий от надземной прозы с ее откровенной погоней за рублем. Если бы внезапно Москву — по-японски — встряхнуло землетрясение, мы с вами, провалившись в тартарары, обязательно угодили бы в лабиринт хитро сплетенных ходов, тайников и пещер. Когда мы отправимся туда, вы воочию увидите, что «по вся дни» пребывает в ней. Но вам сейчас нужны теоретические доказательства существования подземной Москвы, не правда ли?

Тут прежде всего мы должны остановиться на важном вопросе древности Москвы вообще... Как древна наша красная столица? Летописцы насчитывают ей едва восемь веков, а что такое восемь веков с точки зрения археолога? Восемь человеческих лет, не более...

Но сейчас уже никто не отстаивает столь юный возраст Москвы. Даже Н. А. Шамин*, оглядываясь на маститого Забелина, отодвигает его еще до призвания Рюриковичей, насчитывая, таким образом, Москве тринадцать веков. А сам Забелин уходил в историческую тьму гораздо дальше своих последователей. Он насчитывал Москве веков пятнадцать, то есть лет двадцать пять — возраст, так сказать, предельный для замужества... Забелину казалось, что еще в те далекие времена, когда «Арго» Язона* носил на своей кипарисовой палубе каменные якоря, он, Язон, поплыл после бурного романа с Мцхетской Медеей* не к себе, в Милет, а на Волгу, на Оку до Москвы и отдыхал у забелинской «кремлевской береговой горы». По Забелину, это было за пять веков до нашего летосчисления, а по Иловайскому* — даже за семь. Когда бы то ни было, с совершенной достоверностью можно сказать, что Язон действительно побывал на Москве-реке. Здесь он менял свои милетские лекифы[1] и светильные лампочки с нескромными барельефами на носильные шкуры, костяные шилья, пряслицы и гарпуны того самого типа, что недавно были обнаружены при раскопке Бо-

---

[1] Сосуды. *(Здесь и далее примеч. авт.)*

ровского кургана под Москвой. Вряд ли столь примитивные вещи были необходимы ему для повседневного употребления!.. Как видится, уже тогда существовал вкус к археологии...

Итак, Язон на московской кремлевской горе встретил аборигенов каменного века. Большой знаток столь отдаленных от нас времен покойный профессор Д. Н. Анучин* утверждал, что каменный век тянулся в Москве до второго — первого столетия до нашей эры... Но молодой археолог Брюсов* на «Заячьей Горке» и в Костромской губернии нашел железный шлак, насчитывающий будто бы лет на пятьсот больше забелинского Язона, а анучинских троглодитов — даже на целое тысячелетие...

На тысячу лет старше или моложе был кремлевский троглодит — в конечном счете это не играет особенной роли. Важно утверждение ученых, что он действительно жил на месте теперешней Москвы и оставил после себя наглядные следы. По рекам Пехорке, Клязьме, Уче, у сел Капорки, Болшева, Краскова, того самого, где теперь отдыхают москвичи на дачах, он оставил дюнные стоянки, густо усеянные отбросами его быта. Кремлевский троглодит также отдыхал и поправлялся здесь на даче, принимая солнечные ванны в жару и поеживаясь под шатрами из шкур в ветреную погоду...

Но на этих подмосковных пляжах было рискованно оставаться на зиму троглодиту. Куда же он уходил на зиму? Вот вопрос, на который так затруднялись до сих пор дать ответ русские археологи! Вот та пята, куда они наиболее уязвимы!

Несомненно, что троглодит уходил на зиму в теплые и сухие пещеры Московского Кремля. Идеальной почвой для пещерного жителя был лессо-ледниковый нанос эолового или водного происхождения*. Впрочем, по этому вопросу наши ученые еще не столковались. Профессор Анучин писал, что «лессовидные отложения были найдены под валунными наносами кое-где и под Москвой». Отсюда ясно, что и забелинскую «кремлевскую гору» подстилает вот этот самый лесс, а это значит, что московскому троглодиту было где разгуляться и пройтись в узких, но сухих, запутанных, обнимающих большое пространство пещерах под Москвой...

Сохранились ли эти пещеры до нашего времени?

Полагаю, что и на этот вопрос следут ответить реши-

тельным «да», но с маленькой оговоркой — не под всей Москвой. В наилучшей сохранности остался подземный лабиринт в районе Боровицкой и Водовзводной башен.. Зато в районе дворцов и Кремлевской стены подземные ходы уничтожены глубокими фундаментами, а также подземными тайниками царей и князей Церкви, нужными им для того, чтобы прятать свои сокровища, как это сделал Иван Грозный со своей библиотекой, и чтобы иметь удобные пути для бегства на случай народного бунта...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРИЧУДЫ «ЗОЛОТОГО ОСЛА»

Но тут я должен отвлечься и рассказать о событиях, происходивших в начале текущего года на западном берегу Адриатического моря, в Рагузе* — в той самой замечательной республике, которая ухитрилась просуществовать 1 800 лет, вплоть до Наполеона и адмирала Синявина. Я должен объявить прямо: рагузянская республика никакого отношения к моему рассказу не имеет, но Фредерико Главич имел неосторожность как раз именно там родиться. Это был человек лет шестидесяти пяти; по Атлантическому океану плавало восемь пароходов, на кузовах которых кованым серебром было выписано его имя; в мировую войну он заработал миллиарда два на селитре, поставляя ее одинаково и в Германию и во Францию; его живот висел, как мешок с золотом, а синеватая, густого жира, рука крепко держала банки не только Адриатического побережья. Жизнь этого человека истекала сплошным «днем отдыха». По утрам он завтракал целым петухом, газеты ежедневно обзывали его далматинским Морганом, у него была великолепная любовница-блондинка с вымоченными в водороде волосами, и разве только славы, настоящей европейской славы, от которой пахло бы уютом собственной яхты и банковским концерном на всю Среднюю Европу, недоставало этому «золотому ослу», как называли его под шумок в портовых далматинских кабачках.

Впрочем, если газеты менее трех раз в день упоминали его имя, Главич плевал в стакан кофе. Кончено! Аппетит был испорчен! Но если бы дело ограничивалось только испорченным аппетитом... В тот же день летели

телеграммы в Лондон, и фрахт шести пароходов, отходивших из Кардиффа, начинал колебаться так, словно пароходы трепало где-нибудь у Азорских островов мертвой зыбью; на чилийских фабриках начиналась очередная паника по случаю снижения заработной платы, и невзыскательные краснокожие, надев мокасины, клялись, что они объявят наконец забастовку, а по Далмации поднималась цена на соль: нередко, кроме банков, у «золотых ослов» есть тяга к предметам первой необходимости.

В тот день в социалистической газете Фредерико Главич был обрисован во всей красоте: с такими изумительными ушами, каких сроду не бывало даже у самого возмутительного осла. Под ослом же была малоостроумная подпись:

З о л о т о й о с е л, н о н е А п у л е я*.

Фредерико пил утренний кофе в беседке среди одуряющего запаха левкоев. Над беседкой — лев выразительно держал в серебряной лапе землю. Кресло, в котором он сидел, блестело золотом. На лбу блондинки Кэтт в то памятное утро покоился большой синецветный бриллиант: миллиардер находил, что его любовница может позволить себе роскошь менять цвета бриллиантов каждый день.

Главич плюнул в кофе и отодвинул стакан.

Тогда Кэтт сказала:

— Вы должны наконец решиться на предложение этого негодяя. Это будет вам стоить миллиона два, но тогда вы поедете в Рим, и вас примет папа. Тогда, я смею это думать, ваше имя войдет в историю культурного человечества.. И наконец, кто знает, где спрятаны эти самые богатства? Может быть, они как раз там и спрятаны?

У Кэтт была восхитительная улыбка. Два года назад эта улыбка сводила с ума одинокого миллиардера, плевавшего в кофе в Спалато. Но в эти два года выяснилось, что одними плевками не завоюешь славы даже Герострата*.

— Хорошо, Кэтт, — уныло сказал миллиардер. — Я люблю негодяев потому, что они интереснее честных людей. Вероятно, я был слишком честен, чтобы представлять какой-нибудь интерес для человечества. Пусть он придет сегодня в три часа...

«Негодяем» назывался человек, пришедший в Рагузу пешком из Константинополя. Когда этот человек был в Московском университете, он «не снеснялся расстоянием насчет латыни» за полтинник в час, в 1914 году разгуливал в новеньких погонах прапорщика и пил «за скорое взятие Берлина» в калужском трактире за Чертовым Логом. Но в революции оказалось, что не все элементы страны нужны освобожденному народу, и меньше всего погоны прапорщика и латынь. Тогда, «не стесняясь расстоянием», он отправился к Каледину, на Дон, переболел тремя тифами, торговал шнурками для ботинок в Галате, но потом догадался, что жизнь — веселая штука даже за границей, так как везде на свете есть свои дураки. Он даже сделался профессором русской литературы в Софийском университете, не без успеха прочел лекцию о Пушкине в Нише и в Скопле, в Загребе организовал общество русско-славянской дружбы, касса которого так и не отыскалась до сих пор, в Люблянах — бандажную мастерскую и только в Сараеве, где упорно не везло, занялся изготовлением русской простокваши. В Рагузе ему довелось уверить посиневшего от скуки миллиардера в том, что в Москве под землей спрятаны огромные богатства и их можно достать, стоит только взять концессию на проведение московского метрополитена и начать копать землю. Он соглашался поехать лично с паспортом швейцарского подданного.

— Помимо богатств, — говорил он, — мы обязательно найдем грамоту Константина Великого о привилегиях папскому престолу перед православными патриархами... Вы повезете ее в Рим, и папа поцелует вас в затылок... Всякий человек стремится увековечить свое имя, хотя бы простейшим способом продолжения потомства.. Но этот способ известен каждому рыбаку... Этого ли жаждет ваша просвещенная, уставшая от человеческих удовольствий душа?

У «негодяя» было открытое славянское лицо, чистые, как зубной порошок, зубы и некоторый навык в обращении с «дураками». Все это, вместе с природной сметкой русского человека, оказалось неплохим средством к существованию за границей.

В три часа миллиардер задумчиво смотрел на серебряную лапу льва и думал, что ухваченная им земля пока что не более как обманувшая мечта. Все миллиардеры

отличаются странностями: Карнеджи собирал коллекцию пуговиц и подтяжек, Клемансо охотился на тигров, король автомобилей Форд — усыновил попугая, а Вандерлип — добивался концессий в России. Все это, конечно, странности, но, если вдуматься, пожалуй, только они и удержат имена миллиардеров в истории. И разве не возмутительная ирония судьбы: быть миллиардером, а умереть от простого чирья на шее?

— Хорошо, — кисло сказал миллиардер, — я согласен наконец на ваше предложение. Дайте телеграмму моему берлинскому представительству, чтобы тотчас же вошли с предложением концессии в Москву. В этой вилле вам отведут комнату. Вы мне прочтете несколько популярных лекций по русской истории и отныне будете присутствовать при моем завтраке. Это все, что я вам могу сегодня сказать...

«Негодяй» снял шляпу и откланялся.

Во всей этой истории не было бы ничего замечательного, особенно для страны, в которой давно вывелись миллиардеры, и даже старики с флюсами не помнят об их причудах, если бы каприз далматинского «золотого осла» не положил начала занимательной истории которую я и собираюсь рассказать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МИЛЛИАРДЕР ФРЕДЕРИКО ГЛАВИЧ ДЕЙСТВУЕТ

Миллиардер Фредерико Главич «нажал кнопку» в тот же день.

Пароходы в Кардиффе получили радио о повышении фрахта на три с половиной процента. И если бы не фирма «Кук и сын», обслуживавшая корабли крупного каботажа, пароходы остались бы без грузов. Но фирма нашла эти проценты в заработной плате грузчиков, и цифра фрахта осталась прежней.

Далматинские банки предъявили требование об уплате ссуд в срок без всяких проволочек. Счастливые виноградари продали по этому случаю урожай на корню, а двадцать три усадьбы, под самой Рагузой, пришлось ликвидировать с молотка. Я мог бы еще рассказать, что в Триест по тем же причинам, не зашло ни одного паро-

хода, и полсотни безработных матросов спились в портовых кабачках, что в Черногории за фунт соли платили фунт сахару, что в Загребе лопнуло отделение хорватского банка, отчего пострадала не одна хорватская деревня, что в Мюнхене прикрылась фабрика искусственного алюминия, которой отказали в очередном кредите, а чилийские краснокожие, наконец, забастовали и были поголовно возвращены в первобытное состояние, — но это не имело особенного значения. Фредерико Главич действовал словно полководец, стягивавший резервы для нового решительного наступления.

Всего на пятый день затеи в Дейтше-банк поступили аккредитивы из Чили, из Рагузы, из Нью-Йорка, из Загреба, а в русское посольство на Унтен дер Линден явились два инженера в полосатых брюках разговаривать о концессиях на московский метрополитен. Они посулили золотую гору, а себе хотели только мышь. Они так уморительно выговаривали слово «Замос-с-с-кворечье», что посол телеграфом снесся с Москвой.

В тот же день в гостинице «Адлон», в которой обыкновенно останавливаются короли, миллиардеры и международные прохвосты, готовили три номера. Их застилали новыми коврами, мебель перетянули шелком цветов флага Хорватского королевства, а над дверями спешно укрепляли знакомую эмблему: льва, держащего землю в серебряной лапе. Кроме того, миллиардер потребовал, чтобы в вестибюле повесили гамак, в котором он собирался принимать утренних посетителей.

У отеля «Адлон» всегда толчется большая толпа зевак. Я не знаю ее социального положения. Может быть, это безработные кадры рейхсвера, или толпа поваров упраздненной фамилии Гогенцоллернов*, или просто группа унылых жуликов — но эта толпа была свидетельницей странного кортежа, показавшегося в воскресенье утром у Бранденбургских ворот. Впереди — в открытом автомобиле — подвигался «негодяй». Он, очевидно, сдерживал свою натуру от того, чтобы не встать, например, на сиденье и не замахать шапкой, как это любили делать в свое время брандмейстеры уездных городов, мчавшиеся на пожар. С ним рядом поместились два католических патера. В следующем автомобиле развевались по ветру лучезарные кудри Кэтт. Главич потребовал, чтобы она улыбалась народу. Сам миллиардер дремал в отдельном лимузине, на запятках которого стояли два крас-

нокожих перуанца в костюмах православных кабардинцев: последнее — по совету «негодяя», находившего, что миллиардеру все-таки следует познакомиться с русским вкусом.

Толпа зевак оглушительно заревела:

— Хох!

Этим криком она встречала одинаково и королей, и миллиардеров, и международных прохвостов. Тогда патеры осенили ее крестом и помочили кропилом, а светловолосая Кэтт, в первый раз в жизни увидавшая настоящую Европу, подарила народу восхитительную улыбку.

Главича на руках перенесли в гамак.

К сожалению, в планы моего повествования не входит описание причуд этого любопытного экземпляра вымирающей породы. Он, например, приказал вынести из отеля все часы. Он уплетал за завтраком целого петуха, а пока он уплетал, патеры должны были непрерывно читать молитвы. Его именовали «ваша светлость». Он требовал, чтобы краснокожие черкесы плясали казачка, и продушил в конце концов весь отель столь густым русским духом, что соседки его по номеру, два позабывших помереть скелета из Эдинбурга, уехали на родину, не закончив изучения Германии даже по Бедекеру*.

Но дело концессии шло своим чередом.

Из Москвы был получен вполне благоприятный ответ. Правительство СССР соглашалось предоставить «анонимной компании прокладку московского метрополитена и его эксплуатацию на тридцать семь лет». «Негодяй» ежедневно читал лекции по русской истории, и миллиардер узнал некоторые любопытные факты. Так, оказалось, что русский царь Иван Грозный ограбил три города: Торжок, Новгород и Псков, а все богатства зарыл в землю под Кремлем.

— Золото блестит даже под землей, — сострил он, приканчивая очередного петуха, на что Кэтт восхитительно улыбнулась, а патеры сказали: «Amen». И только самые последние дни перед отъездом концессионеров в Москву едва не испортили всей хитроумной затеи. По ночам Главича мучила бессонница — эта типическая болезнь всякого человека, перевалившего за второй миллион. Он дул пиво, хлестал шерри-коблер, хлебал виски, как воду, но спать — нет, извините — не мог! Однажды за полночь он решил испробовать гамак в вестибюле и вдруг увидел «негодяя» кравшегося в одних носках в комнату Кэтт. Ловким пинком ноги Гла-

вич успел спустить его с лестницы, «негодяй» с покорностью пробил головой зеркало, но дело концессии все же заколебалось. «Негодяй» должен был выбыть, а без него развалилось бы все предприятие. Однако Кэтт вовремя сумела убедить миллиардера, что лучший способ отвязаться от человека, покусившегося на ее нравственность, именно отправить его в Россию, там его обязательно расстреляют, даже не посмотрев на его швейцарский паспорт альпийскую шляпу и костюм туриста в огненную крапинку с желтизной.

В ночь на субботу экспедиция выехала.

ГЛАВА ПЯТАЯ

КОНЦЕССИОНЕРЫ ПРИБЫВАЮТ В МОСКВУ

Подземная Москва становилась центром головокружительных событий.

В конце апреля приехали Главичевы инженеры в полосатых брюках. Они ходили по Кузнецкому, пугая лошадей огромными черепаховыми очками. За ними, стайками переполошенных воробьев, вились моссельпромщики. Инженеры удивлялись стуку и треску, с которыми в Москве носятся автомобили, долго примеривались: как можно ходить по московским улицам не толкаясь, обедали в «Эрмитаже», едва не запарились до смерти в Сандуновских банях, по воскресеньям на Ленинских горах разглядывали в бинокли юных физкультурниц — проделали все, что полагается проделать «знатным иностранцам» в Москве. Но лучше всех чувствовал себя «негодяй». Когда переезжали Себеж, он наглухо влез в воротник пальто и сказал по-немецки приветственную речь представителю местной власти. Он до слез растрогался пограничными порядками и даже пригласил «к нам в Швейцарию» проезжего делопроизводителя из Наркомздрава. Но тот посмотрел на него таким упорным взглядом, что «негодяй» умер, завалился в своем пальто в уголок и положился на Николая-угодника. Угодник вывез, и «негодяй» очутился в Москве.

Про Швейцарию он рассказывал совершенно потрясательные факты.

— Во-первых, — электрифицирована, даже на Монблане по вечерам горят лампочки в пятьдесят свечей, и их никто не ворует. Во-вторых, — асфальтирована

вплоть до конюшен. В-третьих, — у самого завалящего столяра, едва умеющего толком починить стул, обязательно висит смокинг; в нем по вечерам он отплясывает «джимми», а утром принимает заказы. В-четвертых, — черт его знает, что было в-четвертых, но «вам» — тут «негодяй» начинал приспосабливать на швейцарский лад свое костромское наречие — даже в двести лет не догнать Европы.

Девицы из ГУМа слушали эти рассказы с потрясенной душой. «Негодяя» приглашали нарасхват, и он шутя нахватал «до четверга или до пятницы» червонцев двести.

План метрополитена был наконец утвержден, и иностранцы начали раскопки одновременно в трех пунктах. На Большой Дмитровке, возле того самого дома, где еще так недавно чуть-чуть не обнаружили подземный ход, под круглой башней на Старой площади и возле дома Малюты Скуратова в Замоскворечье. Копали узкими, как кротовый ход, колодцами, и в зевавшей рядом толпе не раз можно было приметить археолога Мамочкина и молодого человека в серых гетрах. Казалось, они с большим любопытством наблюдали за бочками с землей которые на блоках выволакивали на поверхность.

— Не в первый раз, — шептал в бороденку архео лог — точно таким же способом копал Конон Осипов... Но при всей трудности напасть на жилу хода именно таким дурацким способом на их стороне может оказаться слепое счастье. Я думаю, нам пора принять меры...

С внешней стороны все обстояло благонадежно. В самом деле, в Москву приехали иностранцы прокладывать метрополитен; через год от Сухаревой башни на Якиманку можно будет ехать за гривенник с таким же комфортом, как в Берлине или Париже. Даже самая сугубая осторожность на смогла бы уловить ничего подозрительного. И разве только телеграммы, которые регулярно уходили из Москвы в «Адлон», могли показаться странными.

«Пущено три вагона»,— телеграфировал «негодяй» в то время как никакие вагоны не были пущены.

В эти же дни из Берлина прибыли два новых инженера. Их назначение было непонятно даже участникам концессии. Они были молчаливы, как, впрочем, все знающие себе цену люди, упитаны до здорового слегка лоснящегося румянца, но оба с гнилыми зубами. «Хи

мия» — улыбнулся один из них, когда в дружеской беседе знатных иностранцев за столиком в «Эрмитаже» «негодяй» рискнул поинтересоваться причинами столь раннего выпадения зубов.

Итак, работы шли полным ходом. Костромские и ярославские мужики из сквера Лермонтова* у Красных ворот, получили прибыльную работу. Землю возили за город. На площадях из желтых тесин настроили будок, а толпу зевак отделили канатами. Вдоль канатов прохаживались «снегири»*, отмахивая красными палочками особенно назойливых. И когда наконец в «Эрмитаже» состоялся первый банкет, на который все иностранцы явились в смокингах, а в «Адлон» ушла телеграмма:

р а з в е д к и з а к о н ч е н ы,

в оранжеватом домике на Никитской состоялось бурное совещание, имевшее самый неожиданный результат.

Археолог Мамочкин держал молодого человека за пуговицу и, заплевывая свою бороду, вопил:

— Наша обязанность сегодня же открыть все властям!.. Мы не может допустить расхищения национального имущества!

— Нет! — категорически отвечал молодой человек в серых гетрах.

— Они проникли в ходы! — забывая всякую осторожность, орал археолог.

— И пусть!

— Они ее найдут!

— Найдут! — печально соглашался молодой человек.

— И вывезут так, что не только мы с вами...

— А это мы еще посмотрим!

Вспотевший Мамочкин в изнеможении плюхнулся на макаронный диван. Его крепкое, вырубленное кремневым топором лицо размякло, как яичница. Он ничего не понимал.

— Дорогой Павел Петрович, что они ее найдут — я не сомневаюсь. Но представьте себе: если сейчас мы с вами отправимся, скажем, в отделение милиции и заявим, что инженеры Фредерико Главича проникли в кремлевское подземелье для того, чтобы украсть богатства Ивана Грозного, — в лучшем случае нас заставят выспаться в отделении, осведомившись: где мы достали самогон? Тут нужно действовать иначе...

За стеной, под самой дверью, осторожно пододвинули

стул. Молодой человек прыжком кошки скакнул к две рям и вдруг их открыл:

— Прежде всего так!

За дверью с грохотом ссыпалась чья-то фигура с подвязанным флюсом. В полете она повалила умывальник, за умывальником перевернулась ванна, ржавые картонки, зонтики, швейная машина и самовар — весь тот ассортимент предметов домашнего обихода, который в Москве никак не умещается на шестнадцати квадратных аршинах жилой площади и хранится обыкновенно в передней.

— Вы не ушиблись? — заботливо осведомился молодой человек.

Гражданка Оболенская поднялась с пола.

— О нет!.. благодарю вас... я только хотела повесить шторы... В комнату Павла Петровича так дует из передней... Впрочем, я могу это сделать и завтра...

Плотно прикрыв дверь, молодой человек сказал:

— Пора! Сейчас мы едем ко мне, я приготовил мотыги, мешки с едой, электрические фонари и веревки. У вас готов план спуска?

— Готов!

— Сегодня же ночью мы спустимся под землю!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«БУРЖУАЗНЫЙ РЯДОК» НА СУХАРЕВКЕ

Но в тот день стряслись еще некоторые события, во многом изменившие первоначальный план. До сих пор неизвестно, когда иностранцы напали на след подземного Кремля: в субботу ли ночью или в воскресенье утром? Но в воскресенье утром видели, однако, «негодяя», с видом туриста расхаживающего по Сухаревскому рынку.

Пожалуй, он просто с любопытством наблюдал картинки московского торжища.

Он постоял в шапочном ряду, где молодцы примеривали шапки, а пока примеривали, исчез картуз у того, кому примеривали. В обжорном ряду шипела на сковородах яичница, брызгаясь горячим салом на руки и даже на носы неосторожных прохожих; с треском, словно живые, подскакивали на сковородках пироги и котлеты; мужчина лет сорока, в фуражке инженерного ведомства, время от времени говорил замогильным басом: «Вот дули!» Под ногами шныряли мальчишки, на ходу залезая в

карманы; солнце припекало затылок; на мясе в палатках, над открытыми, словно кошели, мешками с мукой, с сахаром, с подсолнухами кружились зеленоватые облака мух. Тут можно купить все: от подтяжек, снятых с плеч тут же, до мотоцикла. Гребенки, пиджаки, вывороченные в пятый раз, дудели для детей, диваны с подштопанными боками, зеркальные шкапы, отражающие удивительные рожи, и ужасающее количество сапог. Сапоги носили на руках, и их примеривали, постукивали по подошвам, любовно поплевывали на голенища и расходились, не сойдясь в гривеннике.

По правую сторону трамвая, фыркающим комодом налезавшего на эту разношапочную, разномастную, орущую и жующую толпу, находился замечательный «буржуазный рядок». Тут толпились бывшие полковники в серых, протертых по швам шинелях, дамы в бархатных когда-то тальмах, бывший присяжный поверенный и бывший вице-губернатор Вово, сильно постаревший за эти «роковые десять лет», но так и не научившийся выговаривать букву «р». Зизи, Мими, княжна Анна Львовна, помните, та самая, что в Благородном... Они торговали остатками саков и мехов, дедушкиными подарками, чернильницами с амурами, из которых нельзя писать, раздробленными несессерами, ножичками для рыбы, стенными бра — хламом, который остался от голодных лет, да так и не пригодился. Тут же по сходной цене предлагали бюстгалтеры, духи «Лориган Коти», в которых на чаю плавали две капли настоящих духов, цветные наколки для волос, плюшевые альбомы, будильники с музыкой, виды Кавказа и мундштуки.

— Майн герр, — сказала по-немецки дама с заботливо увязанным флюсом — на Сухаревке ее звали «барыня Брандадым», — не обратите ли вы внимание на этот великолепный кальян, вывезенный покойным мужем из Константинополя?

Конечно, это была «дама из общества». «Негодяй» догадался по породистому носу, тонким, как мундштуки кальяна, рукам и отличному выговору на чужом языке. Он взял в руки мундштук и для чего-то поглядел в дырочку. Кальян он раньше не видел, но, черт его знает, по какой надобности покупаются иногда вещи?

— Мой муж почти не употреблял его. Я помню, когда мы шли по Пера в Константинополе...

У «барыни Брандадым» обозначилась слеза и повисла на просаленных заячьих ушках платка. Ко всему тому ее беспокоил флюс. Но она отлично разбиралась в психологии покупателя. И когда тот, повертев мундштук, в нерешительности протянул его обратно, она «прикрыла» козырным тузом.

— Я — урожденная Дурново и по мужу княгиня Оболенская... За весь этот прибор, излюбленную вещь покойного князя, я прошу только меру картошки...

— Меггу каргошки, — подтвердил Вово. Правда, он был пьян — «с этой революцией Вово совсем опустился», — но, смерив взглядом туристский костюм «негодяя» и его швейцарские «котлетки»*, Вово добавил в точку:

— Не скупитесь, ггаф...

Кальян был куплен. «Негодяй» остался джентльменом до конца. Впрочем, он тут ничем не рисковал. Он повел даму по зеленому ряду, в котором, словно снесшиеся куры, орали торговцы:

— Вот пимадоры! Крымские пимадоры!

— Агурцы! Агурцы!

— Редису не прикажете?

«Барыня Брандадым» приторговала меру картофеля и, пока ее ссыпали в подштопанную старым носком плетенку, спросила с томностью:

— Вы иностранец?

— Иностранец, — подтвердил «негодяй».

— Вероятно, вы немец? — продолжала догадываться дама. — В наше время так редко приходится беседовать с настоящими людьми.

— Нет, я из Женевы! Из самой Женевы!

— Ах, я так живо помню это очаровательное озеро... Когда мы с мужем... — вы знаете: я — Дурново, а по мужу княгиня Оболенская... — были в Швейцарии, мы так любили вечером поехать на лодке... И этот звон женевских костелов в хрустальном воздухе...

— Удивительный звон! — согласился «негодяй».

— Такого звона я не слышала во всем мире, — с восторгом перебила дама... — Насыпьте еще четверку... Нет-нет, вот из этого мешка... Эти «нувориши» всегда подсунут самую гниль... В этом звоне есть что-то баховское, вы не находите?

— О да!.. Он очень напоминает мендельсоновскую «Песню без слов»...

Картошка была насыпана, когда дама спросила вполголоса:

— Зачем же вы приехали в эту ужасную страну?

— Я — концессионер. Я приехал прокладывать московский метрополитен...

Как говорится: рыбак рыбака видит издалека. Двадцать минут спустя «барыня Брандадым» ехала с «негодяем» на извозчике, и «негодяй» вежливо поддерживал ее под локоток.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

УСЛОВИЯ «БАРЫНИ БРАНДАДЫМ»

Извозчик остановился у оранжеватого домика на Никитской, и приехавшие стали подниматься на лестницу. На ней по-прежнему омерзительно пахло кошками, ступеньки жалобно скулили под ногой, в полумраке «негодяй» едва не споткнулся о ванну.

— Вы видите, как я живу, — сказала «барыня Брандадым» страдальческим голосом,— все эти ванны, кошки и дрова способны задушить живую человеческую душу.

— Я вас вполне понимаю, — в тон ей отвечал «негодяй», протаскивая картошку в комнату.

И дверь за ними захлопнулась на замок.

«Негодяй» плюхнулся на диванчик и сказал:

— Княгиня, счастливая случайность свела нас сегодня на этом ужасном Сухаревском рынке... Дело, ради которого мы приехали сюда, огромной, почти непередаваемой простыми человеческими словами важности... Оно может не только обогатить вас, оно может... Словом, оно может доставить вам возможность забыть о существовании Сухаревки!..

Но в комнате «барыня Брандадым» вдруг преобразилась. Она сняла подъеденную молью шляпку, попудрилась возле плешивого зеркальца и, подобрав губы в снисходительную улыбку, присела у окна.

— Все это так, — сказала она с достоинством истинных Рюриковичей, — я не отказываюсь помочь вам...

— Но чем, я прошу вас совершенно точно указать это? Мы, швейцарцы, любим точность во всем.

— Прежде всего, я открою вам план русской экспедиции в подземную Москву. Я назову имена ее участни-

ков. Наконец, я совершенно точно укажу время, когда они спустятся под землю.

— А-а-а! — важно пропел «негодяй». — Все это действительно нам очень нужно, но что вы хотите за сообщение таких сведений?

«Барыня Брандадым», словно прицеливаясь, прищурила глаза:

— Прежде всего, чтобы вы на мне женились!

— Виноват?

— Вы не ослышались... Прежде всего, чтобы вы на мне женились.

«Негодяй» увял внезапно, как увядает цветок осенью. Он даже не успел окинуть взглядом женщину, предъявившую к нему столь категорическое требование. Он только видел ее желтые, как у слепой лошади, зубы, основательный нос, желтый протухлый шиньон на голове, напоминавший старый войлок у выходных дверей.

— Княгиня! — прошептал он. — Я нахожу этот каламбур совершенно неудачным... Прежде всего, — тут он припомнил светлокудрую Кэтт, — я, так сказать, уже отдал сердце...

— О! — воскликнула «барыня Брандадым». — Вы меня не поняли... Я не собираюсь посягать ни на ваше сердце, ни даже на руку... Вы женитесь на мне советским браком, чтобы, когда вы поедете за границу, и я смогла бы в качестве жены выехать с вами... Там, — «барыня Брандадым» заговорила с задетой гордостью, — мы разведемся, и я снова стану княгиней Оболенской...

— Но, княгиня...

— Это решительное мое условие!..

— Я хотел сказать, что у вас нет средств... Вы меня простите, но мы с вами люди деловые... Кто поручится, что, приехав за границу, вы не потребуете от меня средств к существованию в качестве моей жены?

— У меня есть средства!

— Но, княгиня... Эта обстановка... Дрова, тухлые кошки, ванна...

— Я вам говорю — у меня есть средства...

— Княгиня, я хотел бы доказательств... Простите, я не смею вам не верить, но мы с вами люди деловые...

«Барыня Брандадым» с достоинством приподнялась. У

нее был вид оскорбленной королевы. «Негодяй» даже струхнул. «Черт с ней, — подумал он, — женюсь, пожалуй, а приедем — сбегу в Италию, не буду жить в родной Швейцарии». Но княгиня вдруг сняла с себя парик, под ним обнаружилась совершенно лысая, блестящая, как молочная бутылка, голова, оснащенная по бокам бирюзовыми серьгами.

— Вы видите эту шишку? — ткнула она в нарост величиной с голубиное яйцо. — Прошу вас потрогать и убедиться... Да не бойтесь, это не саркома!

«Негодяй» от смущения не знал, куда ему провалиться.

— В этой шишке вшит наш фамильный бриллиант в восемнадцать карат... Операцию сделал мне знакомый врач еще в восемнадцатом году... Теперь вы верите, что, переехав границу, я могу не нуждаться в таком муже, как вы...

«Барыня Брандадым» надела парик и опустилась в кресло.

— Я верю! — пискнул уничтоженный «негодяй».

— Согласны на мои условия?

— Согласен! — прошептал он еще тише.

— Мы с вами люди деловые, — сказала княгиня, — не правда ли?

— Деловые, — уныло подтвердил «негодяй».

— Напишите расписку, что я беременна и вы являетесь отцом моего ребенка!

— Кня-ягиня!

Она равнодушно отвернулась к окну:

— Как хотите!

— Хорошо: вы беременны, а я... ей-богу, не виноват!

— Я вас не виню... но мы живем в такое время, когда не веришь даже родному отцу...

Наконец все формальности были закончены, «негодяй» выдал обязательство жениться и увезти жену за границу. «Барыня Брандадым» вскипятила на примусе чайник, достала две чашки с отколотыми ручками, но зато «настоящего севрского фарфора», малинового варенья, спросила:

— Вам покрепче, дорогой жених?

«Негодяя» свернуло в коросту от этого уж очевидно неудачного каламбура, но он решил претерпеть до конца. Полчаса спустя он выходил из комнаты, окончательно растерявшийся и встревоженный. «Барыня Брандадым»,

придерживая рукой разболевшийся от варенья флюс, говорила с озабоченностью молодой жены:

— Так не забудьте же — они спускаются сегодня...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЛЮБОПЫТНЫЙ ОПЫТ С КОШКОЙ

«Негодяй» на ходу вскочил в трамвай...

Было часа два. Самый пустой час на московских улицах. На углах дремлют моссельпромщицы, под солнцем растекается их шоколад. В палатках, никуда не торопясь, пьют воду прохожие безработные, по тротуарам бродят сонные кошки; из окна, на котором свесилась потная перина, женщина в растрепанных волосах кричала кому-то:

— Марья!

— Чиво?

— Сегодня собрание комитета! Ва-аське скажи: перевыборы...

— Ска-ажу!..

На Петровке воняли автомобили, в окнах рыжели на солнце принадлежности дамского туалета, по тротуару унылый «снегирь» гнался за удиравшим яблочником, не выправившим патент. «Негодяй» мимоходом купил «Известия», пробурчал человеку, саданувшему его портфелем в бок:

— Извиняюсь! — и юркнул в темный холодный подъезд дома, выходившего углами на Софийку и Неглинный. Это был штаб концессионеров, обещавших Москве метрополитен.

Два инженера в голубых пижамах, разомлевшие от московской полуденной жары, лениво потели за чаем. Это были вполне честные немецкие лица: одинаковые губы цвета ветчины, глаза вялые, как трава, — медлительные, уверенные в каждом своем движении люди. В углу на подставке фотографического аппарата помещался прибор, напоминавший волшебный фонарь. Человек в черной маске поворачивал ручку, следя черными подковами глухих очков за стрелкой, прыгавшей по зеленым цифрам. Когда стрелка перескакивала на тридцать, из жерла прибора вырывались маленькие фиолетовые молнии в экран, укрепленный на стене. В замаскированном «негодяй» узнал инженера Кранца, прибывшего в экспедицию с непонятным поручением.

Инженер в голубой пижаме назывался «герр Отто Шпеер». Он сказал, отдуваясь:

Отлично, дорогой Кранц! Мы были свидетелями мгновенной смерти мухи, попавшей на экран Это поразительно и совершенно непонятно.. Но что вы скажете о той вон кошке, присевшей на противоположной трубе?

— Я скажу, что в данном случае ни кошка, ни даже слон ничем не отличаются от мухи.

Он повернул прибор к окну, дернул за шнурок, и кошка, подстреленная тупой фиолетовой молнией, скользнула с крыши. Тогда замаскированный снял маску видимо, она предохраняла его от действия губительных лучей.

— Вот вам лучи Мьютесса на практике, сказал Кранц, — и пока в этой варварской стране знают о них только понаслышке, в наших руках есть преимущество! Что вы думаете обо всем этом, герр Теодор Басофф?

Так звали «негодяя». Иногда, переделав окончание фамилии на два «ф», можно стать иностранцем. «Так вот оно что, — подумал Басов, — концессионеры вооружены действительно до зубов».

— Господа, — сказал он, — то, что я готов сообщить вам, вряд ли вас порадует. У нас есть конкуренты, и, по моим сведениям, они сегодня спускаются в подземную Москву.

И он рассказал о некоторых деталях своего визита в оранжеватый домик на Никитской.

— Их два? — вяло спросил инженер в голубой пижаме.

— Два.

— Вы твердо в этом убеждены?

— Мне сказала княгиня. Но постойте... Впрочем, она сказала также, что Мамочкин упоминал о трех рабочих с завода «Динамо». Я не знаю их роли...

— Хотя бы десять рабочих с завода «Динамо»! — как орешек, раскололся смехом инженер в голубой пижаме. — Дорогой герр Кранц, скажите нам, какими химическими средствами располагает наша экспедиция для того, чтобы избавиться от непрошеных конкурентов, если придется встретиться с ними в таком неудобном месте, как подземный Кремль?

— Можно попробовать чихательный газ, — спокойно

отвечал Кранц, — люди зачихаются до смерти... Можно попробовать также веселящий газ, люди будут смеяться до смерти... Не правда ли, эта картинка так и просится в современный юмористический журнал: люди, смеющиеся до смерти в подземельях Московского Кремля? Если бы мы с вами не в состоянии были проделать этот опыт на практике, я бы сказал: похоже на выдумку захмелевшего романиста.

Инженер Кранц был большим знатоком своего дела.

— Кроме того, — добавил он, — вы только что были свидетелями некоторых, отнюдь не фантастических, опытов.

Тогда инженер в голубой пижаме сказал, наливая новый стакан чая:

— Вы очень предусмотрительны, Басофф, и мы благодарим вас за своевременное предупреждение. Назначьте вашей княгине небольшое вспомоществование: купите у нее плюшевый альбом, два бюстгалтера и, пожалуй, ордена покойного князя... Если по ходу дела нужно — женитесь на ней: учитесь быть настоящим европейцем!.. Все это не изменяет наших планов. Сегодня мы спустимся в подземелье, хотя бы там оказалась целая рота красноармейцев...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ТРИ НОВЫХ ГЕРОЯ ПОВЕСТИ

Тут, наконец, я должен познакомить читателя с остальными героями моего повествования, притом сразу с тремя. Они назывались: Арсений Дротов, Семен Сиволобчик и Степан Кухаренко. Два из них, вероятно, были великороссами, они говорили на «а» и подстригались в кружок. Третий — выворачивал «мабут» и хоть также читал «Правду», но под вечер, когда все трое возвращались с работы, любил вспоминать про великого Тараса и вареники с сыром. Все трое работали на заводе «Динамо»... Восемь часов на заводе, когда, словно оголтелые, крутятся шкивы, визжат шестеренки и зубчатые колеса и многопудовые маховики сотрясают стены, совершенно изматывают нервы. Но без пяти четыре восторженно ревел заводской гудок, и Дротов обтирал об фартук напильник,

снимал промасленную прозодежду и у ворот над весенней лужей, у которой уже прохаживался чей-то петух поджидал приятелей. Он был жилист и сух, усы его обвисали по-горьковски, правое плечо — не от того ли, что правая рука двадцать четвертый год держала напильник — было выше левого, в обхождении он был прост и степенен, так как давно знал цену жизни и свое в ней место. В революцию из таких никогда не вырабатывались крикуны, а всегда дельные, незаменимые работники. Он два года дрался в красной пехоте, отстоял екатеринославские заводы, ходил на Каховку и Сиваш, а когда «маленько ослобонился», познакомился с политграмотой. Сидел над ней год, водя опрямевшим от напильника и курка пальцем.

На Пименовской, в той ее конечности, где упирается она в бывшую Сущевскую часть, года три назад растащили по бревнышку на топливо дом, и черный его обгорелый костяк долго торчал бы еще, как гнездо больных зубов, если бы товарищи Дротов, Сиволобчик и Кухаренко не задумали поселиться вместе и из потертых окрошившихся кирпичей не попробовали заложить дом-коммуну. Так новая жизнь началась с фундамента. Когда его выводили, земля была рыхла и податлива.

Семена на заводе называли «порохом» за способность быстро загораться и столь же быстро остывать. «Тов-варищи, — кричал он, вымахивая вперед подстреленную не то на Кубани, не то под Варшавой руку, — вот оно!» Его белобрысый хохолок окончательно намокал. Вероятно, ему казалось, что он все еще командует ударным взводом, и потому, что бы он ни делал, все было ударным. Но так было два дня, потом его энергия остывала или направлялась на другое. Дротов — молчаливый и уверенный, расчетливый в каждом движении, словно напильником он ворочал камни на годы — в таких случаях бывал для Семена самым необходимым человеком. Он умел поддерживать в нем остывающую энергию и направлять ее с большей для всей братвы выгодой.

Если ко всему этому добавить чисто национальное упрямство Кухаренко, его ленцу, но и его упорство в достижении поставленной цели — представляется совершенно ясным, что компания друзей обладала не только недостатками, но и некоторыми достоинствами, притом недостатки, как водится, уравновешивались, достоинства,

наоборот, складывались и в сумме представляли собой силу, достаточную, например, чтобы на развалинах растащенного на дровишки домика построить довольно сносный и удобный для жилья дом. А ведь известно: если из метлы вытаскивать по прутику — можно изломать всю метлу, а прутики вместе — метлы не сломать, если бы даже такое страшное учреждение, как домовый комитет, захотело это попробовать!

В субботу Дротов, по обыкновению, поджидал своих друзей у фабричных ворот. Рабочие по привычке, хоть обыски и отменили, выходили гусем, один за другим, у ворот толпились. На лужах весело кололось весеннее солнце, проезжие извозчики поливали грязью, словно коричневым липким веером.

— Легче, че-орт!

— А ты рот не разевай! Ра-аззява-а!

— Раззява не раззява, здрясте, товарищ!

— Вы были на заседании завкома? Обсуждался вопрос о МОПРе*... Мы порешили всем цехом.

— Ваньку обязательно надоть побоку! Это, я вам доложу, такой карась...

— Да-с, чертеж весьма сложный...

— И куда это центра смотрить? — умов не приложим.

— Куды, куды прешь? Аль зенками-то не зришь?

— Ой, товарищ Дуня, гляньте: Москва-река-те! Хошь семенков?..

— А на гармошке сыграшь?

— Для тебя — что хошь!..

— А я вам говорю, товарищ, что мораль рабочего класса, поскольку она уже выкристаллизировалась...

— Вот ду-лли! Дули!

— Кенскенкин, тебе на Ханиловку? Айда с нами по путе!

— На улице, че-орт!.. Стыду у тебя нету!..

— Итак, товарищ, мы говорили о МОПРе...

— Манька! Манька! Не тае! Не тае! Которая с паковочной... Где тебя черти но-осют? Иди сюды!

— И-иду!..

— Наше вам с кисточкой...

Подошли Сиволобчик и Кухаренко. Друзья неторопящимся шагом людей, отработавших свое, пошли вверх по улице.

Дротов сказал:

— Я видел археолога вчера. Он сказал, что спуск назначен на субботу... Сегодня вечером... Сегодня он покупает веревочные лестницы, к девяти просил собраться у Лобного места.

— Не страшно? — спросил почему-то Сиволобчик.

— Э, милый, — просто отвечал Дротов, — нам ли бояться земли?.. Да и поздно об этом раздумывать. Итак, товарищи, не забыть: мотыги, фонари, пару топоров, хорошо бы отыскать хоть один лом. Мамочкин, товарищ Боб да нас трое... Я думаю, справимся... Я бы сказал: мы должны справиться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

НА СТУПЕНЬКАХ ЛОБНОГО МЕСТА

Часам к девяти вечера, когда Москва уже остывает от торопливого делового дня, когда по Ильинке, по Никольской, по Варварке, гомонившим еще часа два назад советским людом, с портфелями, в которых булки с колбасой, женины ботинки в починку и половинка портвейна на сон грядущий, — редко увидишь пешехода, да и тот, пожалуй, жулик; когда в черных чанах, вонявших целый день свинцовым асфальтом, — беспризорные, озираясь на «снегиря», прицеливаются устроиться на ночь; а по площади, упершейся в красное на закате небо шпилями Спасской и Василия Блаженного, прорвет засыпающую тишину редкий лихач, и цокот подрезиненных его копыт откликнется далеким барабаном, — к Лобному месту подошли три человека и присели на ступеньках. Они были в валяных сапогах, с мешками, из мешков торчали рукоятки топоров, в руках — лопаты, у переднего — лом.

— Обождем, — сказал Дротов.

— Обождем! — отвечали двое.

Кухаренко меланхолически добавил:

— Пойтить махорки поискать, што ли? Под землей без табаку сдохнешь...

— И то верно! — степенно согласился Дротов. — Поищи, товарищ...

Когда он ушел, Сиволобчик нервно спросил:

— Скажи ты, Арсен, на милость... Для чего мы втесались в эту штуку? Есть ли что под землей, нет ли — неизвестно! А если и было — библиотека вся истлела, а золото цари порастаскали... А ты — лезь, да добро бы еще заставляли, а то по своей воле.

— Верно, Семен, по своей воле... Многое мы сделали по своей воле, потому что верили... С верой все можно сделать... Попы верой горы двигали. Мы верой государство двинули. Ужли подземного Кремля не отыщем?.. Ты говоришь, есть ли что под землей? А я тебе говорю — есть. Есть, браток!.. Вороны из-за границы зачем прилетели? Задаром, думаешь? Подземную конку в Москве строить! Держи шире! Когда голодали мы — дали нам из-за границы хушь один завалящий фунт, дали, тебя спрашивают?.. То-то и оно!.. А как поправились — во все полезли. За углем — пожалте нам концессии!.. За золотом — пожалте, мы ручку приложим!.. Почешут нас эти ручки... Так и тут... По старой пословице: гром не грянет — мужик не перекрестится. Теперь, браток, зевать не приходится... Мы не полезем — они полезут, если уж не влезли...

Из темноты мешковато надвинулся Кухаренко, сказал:

— Нашел полфунта, хватит...

Присел, закурил.

В этот момент мимо во второй раз прошла подхрамывающая женщина в кацавейке, когда-то бархатной, в шляпке с пером неизвестной, подъеденной молью птицы и с ридикюлем. Присмотревшись к ней поближе, знающий человек тотчас признал бы «барыню Брандадым», избравшую для вечерней прогулки столь отдаленное место, очевидно, неспроста. Она повертелась подле рабочих, спросила тем мармеладным голоском, каким, по ее мнению, и следовало разговаривать со «всеми этими гражданами»...

— А что, граждане милые, дальние вы будете аль нет?

— А дальние, — безразлично отвечал Кухаренко.

— То-то я гляжу, как будто не наши, не московские... Мамочкина дожидаетесь, Павла Петровича?

— Это ты точно... Мамочкина.

— И я вот Павла Петровича жду, да что-то запропастился... Полезете-то когда? Сегодня аль нет?

Дротов внимательно посмотрел на любопытное птичье перо, однако простодушно ответил:

Должно, сегодня.. Вишь, с лопатами. А ты откуда знаешь?

Сестра я ему .. Боязно за брата, вот и пришла. Так, значит, сегодня, в котором же часу?

Говорили — в десять.

Ну-ну.., В десять так в десять... Счастливо оставаться, граждане милые...

Рабочие видели, как впрохладку она завернула за угол. За углом вдруг побежала по улице бочком, безобразно задирая юбку, и тотчас мимо, к повороту на Никольскую, вымахнул прорезиненный лихач, тугим цокотом пробарабанив над площадью. На нем мчалась «барыня Брандадым», придерживая на лету перо.. Если бы кто-нибудь из них имел возможность проследить за странным поведением гражданки Оболенской в эту памятную ночь, он увидел бы еще, как лихач придержал на площади Свердлова и из скверика, где днями толчется публика вокруг четырех цветочных портретов, а по вечерам женщины, отнюдь не пролетарского происхождения, прохаживаются с кавалерами в шляпах и котелках, как из этого скверика, пропахшего душистым табаком и «Лориганом», выбежал молодой человек в швейцарских котлетках, по виду самый исправный иностранец, и на ходу скакнул на подножку... Этот наблюдательный человек увидел бы, как лихач осадил запененную лошадь у подъезда дома, выходившего углами на Софийку и Неглинный, и оба пассажира юркнули в темноватый глухой подъезд. Полчаса у подъезда никого не было. Дом, днем торговый и многолюдный, казался пустым чемоданом. Наконец из него вышли два человека, волоча с собою ящик с лопатами и обернутый в черное прибор, напоминающий по внешнему виду раскрытый фотографический аппарат. В них без труда можно было признать концессионеров, строящих в Москве метрополитен. Они повернули на Большую Дмитровку, крадучись зашли во двор дома, где зиял огромный пробный колодец; шедший сзади, все в тех же швейцарских котлетках, присвистнул, на свист из колодца застуженный сиповатый бас ответил:

— Есть!

— Надо торопиться, — сказал по-немецки Басофф. — Мамочкин точен, он полезет ровно в десять.

Я поручил этой дуре задержать его во что бы то ни стало...

— О, мы, немцы, весьма точный народ! — отвечал, высовываясь из колодца, инженер Шпеер, распивавший вчера чай в голубой пижаме: сейчас он был дежурным в дыре, к которой концессионеры никого не подпускали, а дежурили сами, сменяясь каждые шесть часов. Он бережно принял прибор, сунул его в черный рыхлый погреб, потом попробовал глубину шестом и вдруг сразу прыгнул, словно провалился сквозь землю. За ним спрыгнули остальные двое. Они засветили проход электрическими фонариками, потом привалили к проходу доску; на нее сверху была набита глина. Доска сровнялась с землей и сделала место прохода неузнаваемым. Бережно подняв завернутый в черное прибор и лопаты, они двинулись сухим, выложенным в кирпич сводчатым ходом в подземный Кремль. Это был тот самый ход, которым при царе Алексее Михайловиче* бежал из Кремля от разъяренной толпы боярин Морозов, отчего археологи и прозвали его морозовским... Концессионеры по слепому случаю напали на верный путь...

Но всего этого поджидавшие на Лобном месте рабочие не знали. Они закрутили уже по третьей «ножке». Кухаренко смачно выругался: «Эдак поджидавши, можно и проголодаться». Часы на Спасской башне пробили десять и четверть одиннадцатого. Никольская, Варварка и Ильинка умерли даже для жуликов, беспризорные под самым носом «снегиря» высвистывали родные рулады в теплом асфальтовом чану — а археолога все не было и не было...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

НЕОЖИДАННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В ДОМИКЕ НА НИКИТСКОЙ

Меж тем в оранжеватом домике на Никитской разыгрывалась настоящая трагедия.

Мамочкин и товарищ Боб (так назывался молодой человек в серых гетрах), закупив на той же Сухаревке веревочные лестницы, свечи и всякие другие материалы, потребные для путешествия под землей, возвращались по Никитской, нагруженные, как верблюды. Археолог Ма-

мочкин имел привычку, разговаривая о подземном Кремле, становиться абсолютно глухим и абсолютно слепым. Началось с бидона молочницы, черт его знает для какой надобности поставленного у самой лестницы.

— Я слышал, что профессором Стеллецким был обнаружен в Перновском архиве список книг библиотеки Грозного, составленный, видимо... — и, уже пролетев через злополучный бидон, он закончил: — ...еще Ветерманом... какая стерва ставит молоко на дороге?

Руки его упирались в молочные реки, растекавшиеся по тротуару, а усы, в которых запуталось слетевшее пенсне, почему-то оказались в сметане. Однако он продолжал:

— Но вся беда в том, что список оказался затерянным... Куда, куда прешь, проклятая баба?

Женщина средних лет и отличной мускулатуры, увязанная в платок так, что видны были только ее глаза, вышла в этот момент из подъезда дома и без лишних разговоров на тему о пролитом молоке ухватила бидон, обратившийся в ее руках в довольно увесистое оружие. Тогда полетели веревки, связки свечей, окорок, который также должен был спуститься в подземный Кремль, шляпа археолога, за шляпой — сам археолог, вывалянный в сметане, точно шницель, приготовленный к жаркому. Поднявшись в таком виде по лестнице, незадачливые путники были встречены человеком с пронзительными глазами, стоявшим на самом верху лестницы возле опрокинутой ванны в позе Бонапарта перед сражением, акушеркой Сашкиной, дамой весьма почтенной по годам, общественному положению и удельному весу, а также гражданкой Оболенской, плакавшей слезами оскорбленной невинности. Завидев осметаненного археолога, гражданка Оболенская заявила человеку с пронзительными глазами — как после выяснилось, Вово из «буржуазного ряда» на Сухаревском рынке — приблизительно следующее:

— Я — женщина больная и нервная и к тому же беременная. Это может подтвердить Анна Петровна и письменное удостоверение...

Акушерка Сашкина сказала густым, как карболка, басом:

— Я подтверждаю...

— Вот видите! — угрожающе отнесся Вово к археологу.

Баба-молочница соболезнующе присоветовала снизу:

— А ты его за бороду да в милицию... Все они, подлецы, одинаковы: улестить — улестят, а добился своего — ищи про гроп своей жизни...

— Княгиня, — сказал Вово, — вы мне позволите пгоучить этого человека, как мы учили в добгое стагое вгемя людей, забывающих о погядочности?

С гражданкой Оболенской становилось дурно.

Вово вплотную шагнул к присевшему на ванну Мамочкину.

— Милостивый государь, хотя по вашим поступкам вы и не заслуживаете такого обгащения. Вам известно последнее гаспогяжение Моссовета о том, что все когидогы, убогные и кухни должны быть свободны для пгохода честных гграждан, а не завалены всякой гухлядью? Я вас спгашиваю, как погядочный человек погядочного человека: известно вам такое постановление?

— Нет, неизвестно! — растерялся археолог.

— В таком случае потгудитесь в течение двух часов убгать все эти ванны, кислые сундуки с подозгительными костями ваших пегвобытных годственников, вот этот комод и гагдегоб.

— Хорошо, — не своим голосом согласился археолог, — но дело в том, что к десяти часам...

— Никаких десяти часов! — взвизгнула «барыня Брандадым».

— Вы убегете эту гухлядь немедленно! — наступал Вово. — Тем более, — добавил он с усмешкой, — вам, кажется, необходима ванна.

Так было выиграно необходимое концессионерам время. Особенно много возни было с гардеробом, и, если бы не молочница, весьма разочаровавшаяся в трагедии на Никитской и даже открыто вставшая на сторону археолога, — исполнение постановления Моссовета затянулось бы до утра. Ее крепкие руки ухватывали ванны, сундуки, какие-то ржавые картонки с сапогами и шляпами так же легко, как малых ребят; археолог наскоро смывал сметану, товарищ Боб в это время мчался на Красную площадь, чтобы задержать поджидавших рабочих.

Археолог вышел из дома только в первом часу ночи. На нем был серый летний пиджачишко, лопнувший в подмышках и засаленный вчерашней яичницей, несуразные охотничьи сапоги, подвязанные под самые ляжки.

Он пошел по Никитской спотыкающейся походкой очень торопящегося человека, не примечая, что вслед за ним подвигаются две тени под черным раскрытым зонтом.

В то же время, взобравшись на Лобное место, Дротов, Кухаренко и Сиволобчик улеглись на каменном полу, приготовясь ждать со всем тем терпением, с каким умеет ожидать только русский человек.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЦВЕТОК, БРОШЕННЫЙ ВЕТРУ...

За Кремлем горели желтые полотна заката. Черные шпили церквей и колоколен на желтом выступали как четкий, прекрасный рисунок чернью на матовом золоте.

— Красота! — сказал Дротов. — Хоть и не наша, не новая, а все же красота!

— Вы хотели знать, Дротов, о том, кто построил Московский Кремль, — сказал Боб, — пока нет Павла Петровича — я расскажу о нем, тем более что о нем я, вероятно, знаю больше нашего уважаемого археолога. Аристотель Фиораванти — вот кто отец Московского Кремля. Он был из Болоньи, это все, что написано о нем в учебниках Грабарь* даже утверждал, что Аристотель — не имя, а прозвище. Но по фамильным спискам, которые, в силу некоторых обстоятельств, мне доступны, Аристотель — имя, смею вас уверить. Итак, Аристотелю Фиораванти принадлежит общий план Кремля и его фундамент, который он и вывел. Его талантливые ученики — Солари, Руф, Алевиз* и Мальт — только закончили дело своего учителя. Аристотель родился действительно в Болонье в 1418 году; его отец, дед и дядя были зодчими. Их ученик, в широкой, по колени, рембрандтовой рубахе, в обтянутых чулках с пряжками, в черной смоли волос, под ними два удивленных круга бровей, гордый и презрительный — таким изобразил он себя сам на венгерских медалях, — скоро затмил славу своих учителей. История насчитывает немало «падающих башнеобразных зданий» — вы понимаете: зданий, скренившихся набок. Их врачом и выпрямителем был Аристотель. Ни до него, ни после него не было зодчего, который сумел бы вы-

прямить падающую колокольню. Он выпрямил скренившиеся башни по всей Италии, он, наконец, стал... перетаскивать колонны и колокольни с места на место. Так, он перетащил храмы в Риме, в Мантуе, в Ченто и в Болонье. За это его звали Архимедом наших дней, но никто не знал математических формул — его чудес. Их в запаянном браслете носил он на левой руке, и разве только с рукой можно было снять этот браслет, и, конечно, велик и славен должен быть человек, по воле которого церкви и колонны переезжают с места на место, не рассыпаясь... Но в самый разгар его славы, когда могущественнейшие властители того времени — Магомет II и венгерский король Матвей Корвин* — стали зазывать его в свои царства, он был заточен в тюрьму, как фальшивомонетчик. Его взяли в Риме, на площади св. Петра, на которую он только что собрался перетащить обелиск Калигулы*.

Это было в 1475 году. А месяц спустя, в летний день, в зной, от которого капал спелый сок с мандаринов и море дышало жаркими туманами, по той же площади мимо незаконченного фундамента проходил человек в знатной московской одежде, в бороде, лежащей на парчовом пузе, словно распущенный хвост кобылицы, и, встретив молодого художника, которого «Петрушею зовут», спросил: знает ли он, где великий мастер? И како того великого мастера найти в городе Риме, буде он не ввержен в узилище, а понеже до новой тюрьмы на свободе пребывает? Это был посол московского государя Ивана Третьего, получивший приказ московской царицы Софьи Палеолог отыскать «великого мастера Аристотеля Фиораванти», кой и «мастер церковный», и «муроль знатный» (каменщик), и даже «пушечник нарочит» (артиллерист), и коего лично знавала царица, пребывая в городе Риме, как мужа знатного и строителя великого. Так произошла встреча посла Толбузина и Пьетро Антонио Солари, ученика великого мастера и строителя стен Московского Кремля, чья горделивая надпись на Спасской башне* не стерлась еще и поныне.

Эта встреча решила дальнейшую судьбу Аристотеля Фиораванти. Он заключил с Толбузиным договор: «ехать Аристотелю на Москву строить собор и крепость». И рядился с ним Толбузин «по десять рублев на месяц», а зовет Аристотеля сама царица, на что пергамент у него,

Толбузина, есть... Аристотель, получавший по тысяче флоринов за один сеанс, на радостях подарил Толбузину замысловатую посудину, коя была блюдо на медных ножках, а на ней «судно яко умывальница», из которого по желанию можно было цедить пиво, мед и вино. Такая посудина одна стоила московского жалованья за несколько лет, но, видимо, так велико было желание Аристотеля ехать в Москву.

Так началась новая эра в жизни великого мастера и новая эра в жизни Московского государства. Он приехал в Москву вместе с учениками 26 апреля 1475 года и, осмотрев заложенные стены Кремля и рухнувший Успенский собор, только покачал головою. Все — на слом! Оказалось, что и «известь не клеевита», и «кирпич не тверд». И стал тогда Аристотель дивить своими чудесами на каждом шагу. Приладил таран и в одну неделю добил старый Успенский собор, а чтоб недолго возиться с фундаментом, положил под него бревна, облил горючим, зажег, и фундамент рухнул. Потом он научил москвичей приготовлять известь, которой и доныне сносу нет. На месте разрушенного выстроил новый Успенский собор. Вывел под Кремлем первый подземный ход. Вымуровал в нем каменную палату, в которую Софья сложила привезенные с собою книги. Он был, наконец, первым денежником царя Ивана: до нас дошли его монеты, со всадником, бросающим цветы на ветер, ибо в переводе «Fior a'Vanti» значит — «цветы ветрам». Он, наконец, принимал самое деятельное участие в жизни Московского государства. Это он вместе с Софьей Палеолог побудил нерешительного царя Ивана свергнуть татарское иго в 1480 году. Он, наконец, был организатором на Руси артиллерии и управлял артиллерией при взятии Новгорода и Пскова, когда «пешая рать многа собрана была с ослопы, с топоры, с рогатины».

И вот этот человек, столь много сделавший для Московского государства, отец Московского Кремля, дедушка российской артиллерии и российских серебряных денег, — вдруг неожиданно исчез, словно цветок, брошенный ветру. Это произошло около 1485 года. И до сих пор ни о причинах его смерти, ни о местонахождении его могилы — в России она или за границей — ничего не известно... А вместе с собой он унес золотой

браслет, на котором выгравированы математические формулы чудес гениального итальянского Архимеда...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ПЕРВАЯ НЕУДАЧА И СТРАННЫЙ СЛЕД

Экспедиция второй час подвигалась по узкому ходу подземного Кремля[1]. Впереди самоотверженно выступал археолог Мамочкин, освещавший дорогу электрическим фонариком. В робких световых пятнах надвигались, словно падали, стены, сводчатые наверху, странно сухие, точно ход печной трубы. В правой руке Мамочкин держал — прощупывая им землю — особый прибор, прозванный волшебным жезлом: прибор умел легким дрожанием определять местонахождение больших масс металла. По внешнему виду это была трость, ее концы были подвязаны к пальцам археолога, а с пальцев, для большей чувствительности, он состриг кожу. Точно такими приборами старатели-золотоискатели в глухих углах Урала или Лены еще и теперь ищут золото.

В подземном ходу не хватало воздуха: кровь стучалась в виски, люди дышали со свистом... Археолог объяснял, что ход был соединен с кремлевскими стенами особыми отдушинами, в них были скрыты вентиляционные трубы, но при ремонте Кремля в XVII веке большинство этих труб было заделано. От пола исходил теплый, слегка серный запах, какой всегда бывает в подземельях или шахтах на большой грубине. Дротов дышал, как паровая мельница: кроме мотыг, рогами подвязанных за его спиной, он тащил на себе продовольствие отряда. Но присесть и отдохнуть никому не приходило в голову: смешно отдыхать под землей. На полу лежала вековая черная земля со щебнем; она уже начала кристаллизоваться, как кристаллизуется в грибки мучная пыльца на мельницах. Нога увязала, как в мягкое податливое тесто, от нее оставался точный глубокий след.

Пройдя больше часу под землей, путники оглянулись назад. Следы в пятнах электрических фонариков уходили стадом больших серых мышей, ход был прям, на свету

[1] По некоторым, достаточно веским, причинам автор не может указать место спуска экспедиции под землю.

его муравленые стены казались серыми, чернело только отверстие, в которое вошли, но оно было близко: за час прошли не более пятидесяти саженей.

— Два хода! — вскрикнул археолог.

Влево от главного хода обозначилась новая дыра. Она была еще более черной, пахла густой тухловатой сыростью.

— Здесь должна быть вода, — сказал Дротов.

— Конечно, — отвечал археолог, — где-то поблизости должна проходить Неглинка.

Тогда решено было разделиться на два отряда, чтобы обследовать оба коридора одновременно. Предполагалось, что вся экспедиция под землю займет часов двенадцать, никак не более суток. За это время тайна подземного Кремля должна быть раскрыта. Времени было немного, экспедиция не могла терять его на детальное обследование ответвлений и новых ходов, если бы даже они и таили еще большие возможности и загадки русского прошлого. Спуститься в левую дыру вызвались товарищ Боб и Кухаренко, с тем чтобы подвигаться вперед только полчаса и по часам вернуться обратно к соединению двух ходов, которые Мамочкин тут же окрестил «мышиным лазом».

— Идем, товарищ! — позвал Боб.

Кухаренко полез в затылок, с сомнением покачал головой, но вдруг отчаянно махнул рукой и провалился в дыру.

— Яма! — глухо закричал он оттуда.

— Иду, — отвечал ему Боб, спрыгивая следом.

Их голоса еще бубнили минуты три, потом в погребе стихло. Экспедиция отправилась дальше. Ход понижался теперь в глубину, на полу проступила сырость, в одном месте археолог нагнулся к светящемуся, блеснувшему в световых пятнах серебром, предмету. Было похоже, словно из-под земли, в отверстие износившегося камня, проглядывала светлая серебряная жила.

— Дротов! — позвал археолог. — Смотрите, что это?

Тот согнулся, уронил фонарик на блестящий предмет

— Уголь, Павел Петрович, антрацит...

— Откуда же он здесь?

— Может, пласт? Копнуть бы...

— Нет, пласта здесь быть не может... Но как этот

кусок мог сюда попасть? Довольно любопытная находка, а? Москва — на залежах каменного угля.

— Где мы теперь находимся? — сипло спросил Сиволобчик.

— Я думаю, мы теперь подходим к Собакиной башне или где-нибудь между Собакиной и Никольской. Но тут должны быть стены, — бормотал археолог, — Осипов, Щербатов и Стеллецкий, все трое, как раз в этом месте наткнулись на каменные столбы московского Арсенала. Если мы идем верно, то также должны упереться в столб...

Он поднял повыше фонарь, и тотчас в свете его, шагах в десяти перед ними, выступил массив арсенального фундамента, преграждавший дальнейший путь. Под сводом быка, сложенного из огромных нетесаных камней, была навалена куча щебня; от времени она осела, из-под камней с легким клохтанием выбивалась струйка воды, тотчас и пропадавшая в камнях. Экспедиция остановилась.

— Сейчас перед нами, — сказал археолог, — встает та же задача, что вставала перед всеми исследователями подземелья. Если мы хотим пойти дальше, мы должны будем или обойти столб стороной, или пробиться сквозь него и таким образом снова попасть в ход. Я уверен, что за стеной немедленно начинается его продолжение. Попробуйте, Дротов... Я посвечу...

Дротов снял мотыгу, тупым без размаха ударом воткнул ее в скрепы между глыбами мячковского камня, но тот лежал прочно, чуть-чуть крошась под напором крепкой руки: в старину умели прочно строить даже под землей.

— Нет, своими силами не сковырнуть!

Произошло то, чего и боялся археолог: экспедиция уперлась в неодолимое препятствие, и дальнейшее продвижение стало невозможно...

Тогда решили: возвратиться назад, к «мышиному лазу», и там ждать возвращения товарищей Боба и Кухаренко. Левый ход был совершенно неизвестен археологу. Возможно, это было какое-либо ответвление, но Мамочкин не придавал ему особенного значения: путь к библиотеке Грозного и его сокровищам все же лежал тут, на этой главной магистрали, прерванной арсенальными быками

Еще издалека у «мышиного лаза» стали заметны огни Боб и Кухаренко вернулись раньше времени. Значит и там неудача! «Ну что же, — упрямо подумал Мамочкин — мы вернемся к столбам, рискнем разобрать кирпич и протиснуться между столбом и стеной хода»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПОДЗЕМНОЕ КЛАДБИЩЕ ЦАРЯ ИВАНА

Тогда экспедиция в полном составе двинулась по левому боковому ходу. Впереди — археолог, за ним товарищи Боб, Дротов и Сиволобчик с мотыгами, на всякий случай изготовленными к нападению, в арьергарде еле передвигал ноги Кухаренко, которому передали лестницы и продовольственные запасы отряда. У хохла слипались глаза, он потихоньку, чтобы не слышали идущие впереди, ругался, отковыривая куски окорока, висевшего за спиной Ко всему этому завтра — завод, работа, заседание завкома, доклад о способах экономии производства.. Черт знает, в какую дыру иногда может загнать человеческая любознательность!.. Тут он зевнул, еще рез в полшепота изругал Дротова «сивым мерином», отломил кусок побольше и едва не поперхнулся от гениальной мысли осенившей сонную головушку.

«Они идут впереди, таков был приблизительно ход гениальных размышлений, — назад им не миновать этой же дороги, если этот чертов погреб вообще можно назвать дорогой... Я иду сзади. Кто же мешает мне, отстав слегка, подождать их на одном месте вместо того чтобы лазить, словно проклятый крот?»

Время от времени путники перекликались условным паролем:

— Есть!

Выкрикнув в последний раз, Кухаренко присел на выступе, скользком от клейкого плесневелого пота, каким потеют камни сухих колодцев и твердые породы в глубоких шахтах. Присев, он задумался на всякие любопытные темы, в связи с завтрашним заседанием, зевнул, попробовал выкрутить «ножку», но клюнул носом и забылся... Впрочем, освежающий сон иногда кстати даже на глубине семи с лишком саженей под Московским Кремлем.

Между тем экспедиция подвигалась вперед. На двадцать второй минуте ход кончался отверстием. Когда в него сунули фонари — увидели пещеру, очертания которой терялись в скудном электрическом свете. Вероятнее всего, она была естественным провалом, пустотой или уцелевшим убежищем времен неолита. Каменный ход, подходя к ней, терялся в наносах желтоватой затвердевшей пыли. Пещера уходила вниз крутым уклоном. По нему-то и двинулись бесстрашные исследователи. И опять чуткое ухо Дротова уловило приглушенное клохтание подземного потока...

Стоп! внезапно вскричал Мамочкин.

Справа и слева, словно груда разорванных бумажек, белело на земле. Боб нагнулся и поднял белую, будто нарочно выбеленную, берцовую кость человеческой ноги. Скелеты лежали в страшном, дьявольском порядке. Под самой стеной, глазами к взошедшим, помещались черепа; в пустых черных глазницах, казалось, еще темнеют зрачки, под черепами прямые трости позвоночников, обтянутых ребрами, раскинутые руки и ноги, неестественно подогнутые под зад. Было похоже, что люди улеглись спать и так заснули мертвым сном два или три столетия назад...

Дротов, шагая меж костяками, как цапля, пробрался к самой стене.

Цепи, сказал он, вот цепь, приковавшая скелет к стене!

Он вложил лом в кольцо около стены и потянул его, но кольцо не подалось. Цепь была вделана в стену наглухо. Это показывало, что пещера служила застенком или тюрьмой.

Кто же это так постарался? мрачно пошутил Сиволобчик.

А вот посмотрим. Товарищи, осмотрите цепи... Особенно ножные.. Может быть, на них сохранились какие-нибудь надписи?.. Заключенные часто выцарапывали на цепях свои имена.

В общем, это была довольно жуткая картина. Кости хру стели под ногой, головы откатывались, как биллиардные ша ры, с легким игривым стуком. Казалось еще: раскинулся над вековым кладбищем запах тления, и в черной насторожен ной тишине, пробужденной любознательностью человека, все еще дрожит последний истошный стон.

Археолог поднял череп и направил струю света в пустые глазницы. Он держал его в руке, как Гамлет.

— Смотрите, — сказал он, — у этого черепа искрошены зубы... Должно быть, он зубами пытался перекусить цепь... Страшно!

— Я нашел кость с оторванной цепью, — сказал Сиволобчик.

— Давайте сюда.

Кость была странно белой. На том месте, где ногу сковывал широкий тугой браслет, кость подалась и тронулась тлением. Браслет от времени был ржавым и хрупким. Но, всмотревшись внимательнее — тут Мамочкин нацепил на нос проклеенное по ободку сургучиком пенсне — в слой коричневатой ржавчины, археолог смог разобрать нацарапанную гвоздем или стилетом надпись и тут же прочитал ее вслух:

— «И уязви в серц... диавол царя Ивана плотским похотени... на княгиню Татиа... жену мою... взя... на ложе ту кня... хотя с не... жити... она же предобр... мужелюбица вземши нож... удари его на ло... в мышку... возъярися... повеле отсещи ей нози и руци... вов рещи мя мужа во...»

— Один из ценных памятников русской жизни времен Ивана Грозного, — сказал археолог. — Если бы мы совершали образовательную экскурсию, я рассказал бы вам, каким образом все это происходило. — И хотя никто не отозвался, он все же добавил: — В русской истории не было царя, не исключая и Петра I, который перещеголял бы Ивана Грозного в блудных делах и сладострастии. Он часто насиловал самых знатных женщин и девиц, а после «блудного воровства» отсылал их к мужьям и родителям. Когда же они хоть сколько-нибудь давали ему повод заметить, что блудили с ним неохотно, то, опозорив, он приказывал вешать их нагими над столами, за которыми обедали их родители и мужья. Эти не смели ни ужинать, ни обедать в другом месте, если не хотели распроститься с жизнью точно таким же образом Трупы висели и гнили, пока родители не получали милостивое соизволение царя похоронить их. Женщины ненавидели его. Прослышав про эту ненависть, царь однажды решил перерезать всех женщин и девушек города Москвы. Бояре едва отговорили его от этого избиения, но все же он приказал в стужу и в снег собрать в Кремль

несколько сотен женщин, раздеть их догола, и в таком виде они разгуливали по глубокому снегу до вечера...[1]

— Видывал же виды Московский Кремль! — мрачно воскликнул Дротов.

— Да, Московский Кремль видывал виды... Но, вперед, товарищи, вперед... В его подлинном виде вы должны знать прошлое Московского государства. Будет время, и я расскажу вам про Грозного еще и не то... Живые свидетели его царствования — вот они! Здесь каждый череп мог бы рассказать о трагедии своей жизни только потому, что не вовремя родился...

— Идемте! — с мрачной суровостью повторил Дротов.

Они двинулись, обходя костяки, к противоположному своду пещеры. Когда свет ушел с кладбища, кости загорелись зеленоватыми фосфоресцирующими огоньками и стали видными в плотной темноте подземелья. Четыре фонаря навели свет на стену густой струей; в ней показалось еще одно отверстие, влажное и глухое. По дороге к отверстию лежали несколько скелетов, ничком, словно к этой дыре, как к спасительному маяку, ползли те кому еще заживо удалось перервать, перегрызть свои цепи

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ИНЖЕНЕР КРАНЦ ПОВОРАЧИВАЕТ РУЧКУ

В то же самое время со стороны Большой Дмитровки, по подземному ходу боярина Морозова, ощупью продвигалась иностранная экспедиция. Ход был глух и тесен, шедший впереди нес на груди большой электрический фонарь, от него, словно пальцы, пошевеливались свисавшие со стен сталактиты. Инженер Шпеер вертел ручку озонатора, густой, оживляющий воздух бился струей и дышалось в нем легко, как только что дышалось в вечернем воздухе засыпающего города.

Все три спутника были настроены самым веселым образом.

— Весьма занятное учреждение этот подземный Кремль, не правда ли, дорогой Кранц?

[1] Петрей — «История русской женщины» С. С. Шашкова*.

— О да, герр Шпеер, я не представляю себе как здесь говорят: «ничего подобного» в нашей Европе.

— Я не понимаю, однако, для какой надобности московским царям понадобилось зарываться так глубоко в землю? На совершенно возмутительных русских просторах можно до сих пор спрятать не только библиотеку, но целое государство. Что вы скажете по этому поводу, герр Басофф?

«Негодяй» вряд ли смог точно ответить на такой вопрос, но был малым толковым, и потому ответ получился приблизительно правильным.

— Когда был построен Московский Кремль и Солари вывел его каменные стены и тем, так сказать, ограничил его площадь, Кремлю оставалось расти только в небо и землю. В Европе предпочитают расти в небо, в России — наоборот — в землю. Я думаю, что вся Россия покрыта сетью таких подземных ходов, пещер и тайных кладохранилищ, что иностранцы только ахнут, когда русские доберутся, наконец, до сокровищ, лежащих в их земле.

— Какое же дьявольское терпение нужно иметь, чтобы вырыть всю эту систему подземного города!

— Вы взгляните только, герр Шпеер, как прекрасно выделаны стены!.. Ведь им больше четырехсот лет. Те времена еще не знали алебастра; они скреплены только известью. Положительно, я в восторге от нашего предприятия. Да, да, здесь есть многое такое, чем не прочь заинтересоваться не только наш уважаемый патрон.

— А кстати, — обернулся Кранц, — вы известили господина Главича о ходе наших работ?

«Негодяй» поспешил ответить:

— Сегодня я послал ему телеграмму: «Вагоны пущены». Он поймет.

Они подошли в этот момент к черной большой куче земли, преграждавшей дальнейшее движение. Вероятно, это был обвал, происшедший или вследствие рыхлости почвы, или вследствие оседания под каким-либо тяжелым зданием[1]. Инженер Шпеер вынул план, приложил к нему компас, сказал уверенно:

---

[1] В действительности обвал произошел вследствие землетрясения в XVII веке, от которого, как известно, пострадал построенный Грозным Успенский собор в Троицкой лавре. Но иностранцы, конечно, этого не знали.

— Сейчас мы находимся под церковью Василия Блаженного или где-нибудь около. Мне кажется, что здесь, тотчас за обвалом, ход продолжается далее или вливается в какой-нибудь другой ход. Нам следует приняться за лопаты.

Полчаса спустя дорога вперед была расчищена. Ход действительно продолжался далее, но перед концессионерами открылось его ответвление со спуском вниз, как в погреб. Вниз вели ступеньки, проросшие липковатой плесенью.

— Я думаю, нам следует пойти именно этим, мало удобным ходом, герр Кранц, здесь мы будем скорее у цели...

— Откуда вы знаете это, герр Шпеер?

— Я чувствую, герр Кранц.

— Вы все еще чувствительны, как девушка из Веймара* или семидесятилетний Гёте при получении новой звезды... — с усмешкой пробормотал Кранц.

Так, ничего не подозревая, концессионеры вышли в коридор, по которому полчаса назад прошли археолог и рабочие. Таким образом, они опаздывали на полчаса: раскопка хода в развалившемся коридоре отняла немало времени.

Каково же было их удивление, когда в толстой нише хода они вдруг заметили человека в нахлобученном по брови картузе, привалившегося головой к камню. От человека исходили странные хрипящие звуки, словно его душили, но, подойдя ближе, концессионеры обнаружили, что человек спал и храпел во сне. Он повел носом от направленного прямо в его лицо света, со свистом вздохнул, отмахнув рукой от лица беспокоивший свет, словно муху, но не проснулся.

— Отличный тип московита двадцатого столетия, — сказал Кранц, — надеюсь, дорогие друзья, вы мне позволите попробовать на этом редком экземпляре действие моих лучей?

— О, конечно, дорогой Кранц! Это отличный экземпляр для опыта. Тем более что по внешнему виду он — отчаянный большевик. Но я думаю, прежде нам следует попытаться прервать этот сладкий, в столь неподходящем месте, сон и расспросить о силах и намерениях противника.

На что герр Кранц добродушно ответил:

— Вы мудры, как сам Кант! — он тронул Кухаренкин нос носком сапога, а «негодяй» заорал хохлу в ухо:

— Вставай! Вставай, товарищ!

Кухаренко вывел носом столь сложную руладу, что едва не поперхнулся, и продрал глаза. По привычке сначала он сплюнул, матерно выругался и сказал:

— Отож заснув, бисового батька... — и тут уж окончательно проснулся. — Це що за вшива команда? Яки таки люде, черта вам в зубы? Геть!

Инженеры слегка отступили.

— Покажь мандат, трясьця твоей маме! — наступал он на «негодяя». — Куды, куды залезли, бисовы дети? А ну, покажь мандат!.. Какой такой у тебя пароль-пропуск?

Но Кранц повернул ручку. Стрелка скользнула по зеленоватым цифрам и остановилась на тридцати. Тогда из камеры вырвалась тупая фиолетовая молния, она ударила в поднятую хохлом мотыгу и зажгла ее. Мотыга, словно сухая трость, вспыхнула ржавым мгновенным пламенем и выпала из его рук. Хохол раскрыл рот, словно хотел еще крикнуть: «От, бисовы диты!» — и вдруг рухнул на камни, пораженный внезапным сном...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

РАЗГОВОР О НЕКОТОРЫХ ПУСТЯКАХ

Иностранцы продолжали путь.

— Скажите, дорогой Кранц, — вдруг спросил Шпеер, — что вы испытываете, когда вам приходится во имя науки убивать живое существо?

— Я не понимаю вопроса! — удивленно отозвался тот.

— Ну, например, когда вы своими лучами убиваете человека?

Эта фраза герра Шпеера окрасилась некоторым оттенком грусти. Все же он был правоверным немцем из Веймара, в котором живали и Гёте, и Шиллер, и даже румянощекие романтики не раз собирали там голубые цветы.

Кранц ответил чистосердечно:

— Вы знаете, Шпеер, я об этом как-то еще не подумал!

— А вы подумайте, дорогой Кранц. Вы обязательно подумайте! — с иронией посоветовал Шпеер.

— Хорошо, — сказал Кранц серьезно, — я обещаю вам подумать об этом, но, дорогой Шпеер, когда всю жизнь занят двигателями лучами и электричеством, не остается времени думать о пустяках; вы знаете я не поклонник Гёте. Я думаю, что только двигатель есть вещь, а прочее все — гниль!

— Браво, Кранц, вы становитесь европейцем больше чем это нужно!

Но тот с легкостью отпарировал и этот удар:

— Иначе дорогой Шпеер мы с вами не были бы здесь!

Так, разговаривая о всяких пустяках, концессионеры подошли к отверстию, из которого вел спуск в пещеру с черепами. В ходе меж тем становилось душно, озонатор ослабевал, «негодяй» расстегнул воротничок своего спортивного костюма и потихоньку стирал пот на лице. По правде сказать, он думал что, черт знает для чего, «влип в здоровенную кашу». «Какое там золото, — с тоской рассуждал он, — и право, лучше просто удрать от этих полосатых чертей. О с ними шутки плохи! Он в этом убедился. Погиб же вот симпатичный русский мужик с пушистыми усами! Погиб ни за понюшку! Погиб за окорок! И, если в подземном Кремле ничего не найдут не случится ли...»

— Следы! — вскричал Кранц.

Шпеер наклонился к самой земле и с минуту внимательно изучал следы шести различных сапог, уходивших в глубину колодца. Русские уже прошли. Теперь это было очевидно. Кранц предложил не спускаться в колодец, а подождать возвращения русских здесь. Не для прогулки же они влезли под землю? Если они откроют следы библиотеки, то он, инженер Кранц, готов без ошибки направить на отверстие колодца свой аппарат...

И так как ему никто не ответил он повернул «прибор смерти» в отверстие нового хода и брызнул в него длинным фиолетовым лучом рассеянного тока. В торопливо перебегавших пятнах света иностранцы увидели скелеты, черепа с темными пробоинами глаз и кости рук, протянутых к ним так близко, словно руки хотели их схватить. Впечатление от этой картины было настолько жуткое что «негодяй» заслонил лицо руками и, слов-

но наседка, присел на пол. Конечно, дальше он не сделает ни шагу! Даже настроенный отнюдь не романтически инженер Кранц несколько смешался. Что угодно, но подземных кладбищ он не ожидал... Впрочем он очень скоро оправился от смущения.

— Дорогой герр Басофф, — сказал он, — вы участвуете в экспедиции как знаток русского народа и его истории, не правда ли? Не объясните ли вы нам, кстати, что обозначает этот склад человеческих скелетов на глубине пятнадцати метров под Москвой?

Тогда «негодяй» коснеющим языком принялся врать о том чего он не знал об Иване Грозном.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,

В КОТОРОЙ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЛЬЗЕ АРХЕОЛОГИИ

Когда в новое отверстие просунули фонари, оказалось, что даже соединенного света четырех лампочек не хватает чтобы осветить новую пещеру. Опустившись на колени археолог обнаружил, что погреб западал вниз ступеньки, словно оседая, уходили в пол, земля становилась рыхлой и пахла дохлыми кротами. На мгновенье жуткая, почти физическая нерешительность овладела им. Так часто бывает с людьми, слишком крепко верящими в одну какую-либо возможность. Если бы свет фонариков падал на лицо, а не шуршал робкими тенями по желтоватому лесу этой типичной неолитической пещеры, на жестком прорубленном его лице можно было бы заметить нечто близкое к отчаянию. Он был археологом — и только! Впрочем, этого было не раз достаточно, чтобы считать свои расчеты с жизнью поконченными: он помнит свой последний поход в Холодный Яр. Кто знает, что и с каких времен таил в себе этот широко шумящий лес, пристанище гайдамаков еще со времени Гонты и Железняка*. Лес протянулся на десятки верст и под самым Матронинским монастырем, столицей непокорной гайдамацкой силы, светятся кусты радугой волчьих глаз, и злы медведи, потревоженные на лесных пчельниках. Он ночевал в пещерах, уходивших в темное нутро земли слышал, как бьется ее сердце по ночам и как перекликаются под утро просту

женные волчьи голоса, озлевшие от голода. В революцию в Матронинские леса ушли повстанцы и жили в них, как жили во времена Запорожской Сечи, светясь по ночам волчьими глазами костров, катясь шалой дробью винтовок, катясь песней, все равно неслышимой в глухих просторах. Тогда встреча в лесу с человеком была еще страшнее, чем встреча с волком. Костлявый старичок, в проклеенном по ободку сургучиком пенсне, влюбленный в прошлое, как в невесту, две недели упрямо дрожал в лесу, в пещерном ходу, так же, как сейчас, пахшем теплой гнилью земляного нутра, и вряд ли не самыми лучшими днями его жизни были эти незабываемые дни... Человек прошлого бережно прятал в землю самый надежный свой кошелек, лучшее, чем он владел: золото, доспехи, верный меч и верную лошадь и после смерти — свою жену. Он глубоко зарывал их в пещеры и в курганы, страшась, что разроют сыновья и внуки, и не страшась, что через столетия их разроют другие люди, которым не нужны проржавленные мечи и запястья добровольно сходящей в могилу жены, которые бережно унесут их в музей и в хранилища, чтобы вместе с песней, вместе с величавой балладой о прошлом — память о нем понести к вечности. О, какая жуткая, какая прекрасная минута, когда в Ольвии, на берегах Тясьменя, в Холодном Яру* или здесь — в Московском подземном Кремле — под ударом упорной лопаты вдруг выступит из мертвого прошлого кусок живой жизни, чтобы показать еще одну ступень, по которой из глухого, неведомого небытия прошел человек к пиджаку, к автомобилю, к электрическому утюгу. Итак, еще раз вперед!

— Товарищ Дротов, нам придется укрепить лестницу у входа и попробовать спускаться по одному. Без лестницы спуск опасен. Однажды в Холодном Яру я точно таким образом провалился в пещеру и просидел в ней больше суток... Где ваш лом?

Только тут было замечено отсутствие Кухаренко. Решили, что Сиволобчик пойдет назад, здесь же, у спуска в погреб, будет оставлен горящий электрический фонарь. Ушедшие вперед постараются не терять фонаря из виду. Таким образом, они будут знать, что Сиволобчик и Кухаренко еще не вернулись. Когда же вернутся, пусть поставят рядом два фонаря и ждут изве-

стий от них. Это будет база, от которой экспедиция возьмет направление.

Приподняв фонарь, Сиволобчик все еще медлил.

Словно он пытался что-то сказать, но не осмеливался. Конечно, он не был трусом, но подобное предприятие, очевидно, безрезультатно. Ночью надлежит спать — кто не умеет спать, тот не умеет работать, — и этакой вот ночью залезть черт знает куда, вываляться в пыли и, в лучшем случае, прослушать лекцию о каком-то царе, о котором и помину давно не осталось...

— Павел Петрович, — осмелился он наконец, — вы уж меня извините, пожалуйста... я уж, как говорится, сплеча!.. Вы уж валяйте, чего там, а мне сына завтра чуть свет в диспансер вести.

— Воля ваша, товарищ.

— Оно, конечно, да вы уж не сердитесь... Ей-богу, как говорится... Рабочему человеку, да в подземные Кремли!.. Я уж лучше пойду, пока не поздно...

И он в самом деле пошел, высоко подняв фонарь над головой.

Дротов сплюнул ему вслед.

— Серость, — сказал он, — вот она, наша несознательность-матушка... И наплевать... одни справимся...

— Ничего, это уж не так плохо, — мирно заговорил археолог, — совсем не нужно ни ругаться, ни плеваться, Дротов! По-своему он прав! Сейчас у русского рабочего еще нет времени заняться своим прошлым, надо строить настоящее — не правда ли? Наше настоящее кричит петухом, как любит выражаться один мой маленький приятель, поэтому оно отнимает у нас каждый час и каждую минуту. Но, конечно, придет время, и мы с вами разберемся во всем — не только в идеологическом и экономическом, но и в историческом, в самом прямом смысле этого слова, наследии. И тогда многое, перед чем мы сейчас останавливаемся, как вот в этом тупике, станет для нас понятным... Держите лестницу.

Они спустили конец лестницы в погреб, веревки лестницы развертывались с легким шуршанием. Это показывало, что стены хода отвесны, что, может быть, это даже колодец, который не имел прямого отношения к ходам подземной Москвы и возник по какой-либо другой при-

чине... Голова археолога уже скрылась в темноте. Дротов светил ему фонарем, но вдруг снизу лестницу дернули с такой силой, что Дротов и Боб не удержали ее концы и, сорвавшись, археолог камнем полетел в глухую черную тьму...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ВНЕЗАПНОЕ РЕШЕНИЕ МИЛЛИАРДЕРА

В то же самое время в «Адлоне», в великолепной гостинице, где останавливаются короли, миллиардеры и международные прохвосты и где для Фредерико Главича обтянули мебель в цвета хорватского флага, а в вестибюле подвесили гамак, произошли события, столь же важные для судьбы метрополитена, как и работы концессионеров в Москве. Кто может угадать каприз миллиардера, проснувшегося не в духе? Кто может предусмотреть, какая новая причуда осенит голову человека, когда он потягивает шерри-коблер на веранде, сплошь заставленной живыми цветами и так густо засеянной дамскими шляпками всех стран и рас, что ловкие кельнеры должны продвигаться меж ними не иначе, как высоко поднимая бронзовые подносики, словно это знамена или фамильные драгоценности. Кто бы посмел точно определить, о чем в настоящий момент задумался этот щедро набитый синеватым жиром мешок, у которого по Атлантическому океану плавают восемь пароходов, у которого вырабатывают дензнаки тридцать фабрик в Америке, в Германии, в Далмации, у которого в правом кармане жилета чековая книжка на два с половиной миллиона, отрыжка после вчерашней рыбы, разочарование во всем и геморрой? Нет, никто не в состоянии даже предположить, о чем может задуматься такой могущественный человек! И даже сам могущественный человек не знает, о чем он задумался. Прежде всего, ему жарко. Он обтер платком взбухший желваками лоб и приказал кельнеру подставить под стол два чана со льдом. Потом он подумал: хорошо бы ущипнуть вон ту блондинку в огненных волосах, лорнирующую прыщеватого принца справа; он пальцем поманил кельнера и спросил голосом заснувшего карася:

— Что за женщина?

Кельнер, мальчишка-херувим, какие водятся только в мутной воде больших европейских гостиниц, смазал медом в самое ухо:

— Если его светлость хочет, она постучит сегодня в половине двенадцатого в покои его светлости. Кажется, она — супруга министра.

— Пошлите ее к черту вместе с министром...

Потом он понял, что ему надоела музыка. Джаз-банд, громыхавший барабаном, кастаньетами, автомобильным рожком, битыми тарелками, нечто среднее между симфонией Баха и маршем сифилитиков, умолк, как зарезанный. Конечно, все благожелательно улыбнулись маленькому капризу: не каждому же из смертных приходится распивать кофе в обществе настоящего миллиардера.

И когда, наконец, кабардинцы в мокасинах проплясали казачка, потому что Главичу крыть свою скуку дальше было нечем, — все посетительницы нашли, что светловолосая Кэтт — очаровательная девушка, хоть и несколько простовата для такого высокого жизненного амплуа, как любовница миллиардера. В тот день ее матовый лоб украшала диадема из светлых сапфиров, а платье было так же красно, как и цвет ее румянца.

— Кэтт, — вяло, словно он подавился битым стеклом джац-банда, сказал миллиардер, — вы не находите, что всю эту сволочь, сидящую и справа от вас, и даже слева, за пятьдесят долларов можно поставить вверх ногами, как пескарей? Если вам так же скучно, как мне, и если вас может развеселить подобное зрелище, я готов вам его доставить... Вы знаете, Кэтт, сегодня я чувствую себя демократом... Я почувствовал себя демократом еще во время утренней ванны... И право, мне хочется сделать что-нибудь очень демократическое в этом отеле для отставных принцев...

Он вынул сигару, откусил кончик и выплюнул его в сливочный пломбир.

Тогда кругом зашелестел шелковый шепот:

— Смотрите: он плюет в пломбир! Вы не видели? Это просто изумительная привычка: плевать во все, что стоит на столе. Смотрите же! Он плюнул опять!.. Впрочем, говорят, что Карнеги... вы знаете? — тот самый, что усыновил попугая... еще остроумнее в своих причу-

дах. Ведь Главич, в конце концов, просто золотой осел из Рагузы...

Джац-банд просыпался свежим попурри на расколотых стаканах. Две пары пошли по залу в изломанном джимми, а джимми — это способ без помощи рук удержать на плечах спадающие штаны, и, когда мужчины все-таки удержали свои штаны, их разочарованно проводили аплодисментами. Нестерпимо воняло отравой дорогих духов, с лиц и подбородков сыпалась в пломбир и кофе пудра, и, кто знает, была ли она примечательнее плевка ошалевшего от скуки миллиардера? До ужина, когда отель приступал к «настоящему делу», когда по коридорам его, с видом министров, спешащих на доклад, сновали кельнеры, а метрдотели, с достоинством придворных советников, наклонялись к тем же столикам, но ус певшим принять деловой вид, к тем же людям, но во фраках и смокингах, к тем же дамам, но раздевшимся теперь на три четверти, — оставалось еще два часа. Самое никчемушное в большом европейском городе время. В окна свисает не то закат, не то просто выжатый лимон. Фонари только пробуют свою силу. Глаза женщин еще не горят теми завлекающими огнями вечера, когда оживают даже дряхлеющие миллиардеры и собственная жена начинает казаться интересной женщиной.

Фредерико Главич зевком едва не разорвал рот.

Он, приказав принести оранжаду, сказал:

— Кэтт, моя маленькая крошка, вам, должно быть, необычайно скучно с таким большим и старым человеком, как я. Вы были в Испании, в Италии, в Германии, но сумели сохранить в себе некоторую прелесть дыры, которую представляет собой ваша и отчасти моя родина. Моя — я говорю только потому, что имел неосторож ность в ней родиться. Но мы, миллиардеры, как великие полководцы и великие мыслители, не принадлежим только одному народу, если даже имеем паспорт с его гербом. Я нахожу, что «негодяй» был прав в вопросах о вечности. Я не признаю простейшего способа удержаться в памяти человечества, притом такой способ испортил бы вашу чудесную фигуру. Вот почему я затеял историю с подземными богатствами и книгами московских царей, которых все равно нам с вами не прочитать. Это не только прихоть, Кэтт, как может это показаться дураку, которому не под силу тяжесть даже одного миллиона!

Закончив это любопытное предисловие, Главич сделал неожиданный вывод:

— Завтра мы улетаем с вами в Москву!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

МИЛЛИАРДЕР ФРЕДЕРИКО ГЛАВИЧ ЛЕТИТ В МОСКВУ

На аэродроме Темпельгофа, откуда ежедневно отлетают аэропланы и в Вену, и в Кенигсберг, и в Лондон, и в Дрезден, готовили к отлету в Москву новенький сероватый «юнкерс». Миллиардер боялся сквозняков, поэтому всю внутренность кабины выстлали шкурами молодых леопардов. Было зябкое безразличное берлинское утро. Механики, осматривая самолет, переругивались голодными голосами. Из предместий на велосипедах тянулись в город переписчицы на машинках, маляры с кистями за спинами, свинцоволицые наборщики и продавцы пива в вокзалах подземной дороги. В домах, обставивших аэродром серым взводом одинаковых чемоданов, растворялись утренние окна, и в них заботливые хозяйки, торопясь не пропустить положенный час, словно по команде, выставили перины, бецуги и ковры, что можно было делать только с шести до восьми по субботам, а была как раз суббота.

— Вы слышали, герр Шмидт? сказал молоденький моторист другому. — Он нанял целый аэроплан прямо в Москву!

— Миллиарды! — почтительно отвечал тот.

— Но у нас с вами тоже миллиарды...

— На два наших миллиарда дают только один фунт маргарина...

— Мне рассказывали, что миллиардер купил сто кило наших немецких миллиардов, чтобы оклеить ими комнаты в своей вилле где-то на юге...

Фредерико Главич прибыл на аэродром к девяти. Его сопровождали Кэтт и летчик, которого миллиардер пригласил к традиционному утреннему петуху. Явились также оба патера, когда-то кропившие народ у «Адлона», Фредерико их не приглашал, они пришли сами, на всякий случай. Провожать миллиардера прибыли, по меньшей мере, десять автомобилей. Даже те два человека,

что вчера танцевали джимми, и прыщеватый принц, сидевший с дамой, которую миллиардеру захотелось ущипнуть, и сама дама, беженка из Кельна, сочли своим долгом выразить сочувствие миллиардеру, отправляющемуся в Москву.

— И вы не боитесь живых большевиков? — спросила дама, слегка склоняя вперед шляпу, отчего ее глаза всегда начинали казаться глубокими, как Рейн.

— Это очень рискованное путешествие...— осторожно согласился патер. — Когда я был в Африке у кафров...

— Вы знаете, вчера я читал в «Берлинер Тагеблатт» о том, что большевики зажарили представителя Ара*, который имел неосторожность удалиться из своего отряда, и даже съели его живьем...

— Какая храбрость!..

— Такая храбрость свойственна только настоящим миллиардерам.

— Я бы сказал, что это безумие — отправляться миллиардеру в страну, где не осталось даже ни одного миллионера. Я бы запретил под страхом величайшей кары подобные увеселительные экскурсии. Пусть лучше летит в Африку, если ему хочется щекотать уставшие нервы... Миллиардер принадлежит не только себе.

Фредерико Главич стоял у кабины, на нем была каска, торчавшая огурцом на жирной голове, в руках он равнодушно мял меховые перчатки. Он со снисходительной улыбкой слушал все эти вежливые опасения. Он был миллиардером десятый год и знал цену не только почтению и дружбе, но даже любви. Кроме того, его мутило после вчерашнего пломбира и ночь опять была бессонной.

Он оглянулся, ища, куда бы плюнуть. Но плюнуть было некуда.

Блестящая толпа, колыхая зелеными, красными и желтыми шляпками, дыша всеми запахами косметики, наступала на миллиардера со всех сторон золотом своих зубов, кармином улыбок и остриями отполированных заточенных ногтей. Он был похож на загнанного зверя, которого охотники затравили в угол лесной опушки, но все еще не верящего в неизбежный конец и пробующего обороняться.

Он вяло сказал:

— Пошли вон, дураки!

Ему хотелось закрыть глаза, заснуть и не проснуться. У него от усталости кружилась голова. В первый раз в жизни ему стало жалко себя. Он вдруг почувствовал, что вот — большое тело расплылось, что оно не удержит и рухнет, что голова сейчас треснет, как переспелый арбуз, и тогда они бросятся на него сворой не знающих пощады псов. Потому что он — только свежее, пахнущее теплой кровью мясо. Он в изнеможении прикрыл синие, набухшие веки. Было время, когда на берегу моря, большого и теплого, его ласкала мать, потому что и у миллиардера была мать. Тогда он был сыном виноградаря и вместе с отцом учился радоваться пышному цветению лозы, утренним розоватым волнам, когда, как птицы, скользят по ним паруса рыбаков, тугим дарам узлистых маслин, свевающих по веснам розовый снег юга в покатые горизонты. Он оставил отца, ушел в Америку — тогда многие уходили в Америку — учиться, уважать золото и богатеть, и в Америке он научился уважать золото и разбогател, но навсегда ушла с души тихая радость, какую прежде так просто навевало море. Миллиардер тревожно оглянулся на Кэтт: одна она еще умела напоминать ему об этих невозвратимых вещах.

— Господа и почтенные дамы, — сказал тот, кого он обозвал прыщавым принцем, — когда миллиардерам становится скучно — они уезжают охотиться на львов. Так делал Рузвельт, так поступал старый тигр, который давно уже выродился в собаку, — Клемансо. Конечно же мы не смеем препятствовать желанию уважаемого миллиардера...

Прыщавый принц внимательно посмотрел в сонные глаза Главича.

— Мы только почтительнейше просим его отложить свою поездку до завтра. Сегодня, как вам известно, состоится весенний бал в «Фиаметте» в пользу инвалидов войны, имевших несчастье потерять трудоспособность на все сто процентов. Мы были убеждены, что фигура почтенного миллиардера украсит наш скромный праздник. Мы, собравшиеся здесь, единодушны в этом мнении. Не правда ли, господин патер? Почтенные дамы, я уступаю вам место! Из ваших сладких уст прольются...

Тогда миллиардеру показалось, что он большая изнемогающая муха, попавшая в клейкий сахар. От ощущенья сладости его тошнило. Ему трудно было дышать. Превозмогая себя он крикнул летчику:

— Прошу вас!

Он ухватился за ручки кабины и тяжело полез вверх. И тотчас из-под винта выбился тугой ветер стронутого мотора. Ветер налетел шквалом, в нем закружились перья, сорванные шляпки, прыщавый котелок. Он ослепил глаза и ватой заложил уши...

Миллиардер Главич бежал. Впервые в жизни поняв, что вот сейчас он совершает бегство от того, к чему стремился всю жизнь, когда учился уважать золото и богатеть, и кто знает, — быть может, к тому, что с годами утерялось, но было там — в цветущих виноградниках на берегу, розовом от восхода, на светлом парусе лодки, улетающей, как птица, к горизонтам...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

МИЛЛИАРДЕР ФРЕДЕРИКО ГЛАВИЧ ПРИБЫВАЕТ В МОСКВУ

В шестом часу утра — когда солнце чуть пробует зацепиться красноватыми лучиками за шпили московских церквей, а по улицам сонные метельщицы гонят вихри пыли, бумажек, спичечных коробок и подсолнечной шелухи, когда город еще спит и только на вокзалах громыхают бидонами молочницы, да первый трамвай, встрепенувшийся от ранних фабричных гудков, резво разгоняя кошек, несется по пустой улице — с ходынского аэродрома выехала извозчичья пролетка с поднятым верхом. У миллиардера болела голова, ему казалось, что он все еще летит на аэроплане, а бедняжку Кэтт совсем развезло. Миллиардер сказал извозчику: «В гостиницу», еле впихнув свое тело в обдряпанную, словно ее протаскивали в игольное ушко, пролетку, и притих. Потом он принялся с любопытством разглядывать пейзаж.

«Азия», — вяло подумал он, откидываясь в пролетку, вразброд дребезжавшую на четыре голоса четырьмя своими колесами, и едва не поперхнулся от боли: из пролетки в его спину упирался большой ржавый гвоздь.

Извозчик не знал другого адреса и повез своих пассажиров в гостиницу «Савелово», у Бутырской заставы. Это были отличные номера для приезжающих, с подачей самоваров, но без права распития спиртных напитков. Кроме того, на стенках висели следующие плакаты: «Просют матерно не вырожатся», «Просют семенков не

щелкать», а также программа, — «вероятно, кабарэ», подумал миллиардер — «Амсамбль русская песень», которая исполнялась внизу, в пивной, под самыми номерами. В программе были обозначены удивительные вещи: «Тов. Селиванов — бас контап., тов. Худояр — бас централ., тов. Наседкина — колотырная сопрана», но, к его счастью, миллиардер плохо понимал русский язык и потому вяло кивнул головой, когда размашистый половой в кудерьках ввел его в номеришко и плюхнул чемоданы на облезлый диван.

Главич покорно присел на краешек табуретки для умывания, а Кэтт на большой чемодан, который уже втащили и поставили возле кровати.

Но половой не уходил и стоял в дверях.

— За три дня пожалте вперед, у нас правила такая... Потому хозяин работает без кредиту-с!

— Сколько?

— За номер три сорок... Вторую кровать прикажете? Три сорок да рупь сорок — шесть сорок! Электричество отдельно, самоварчик подадим, чай, сахар — ваши!

Миллиардер едва вытащил из кармана червонец, как тот уже исчез из его глаз.

— Смею рекомендовать гражданину иностранцу тишину наших семейных номеров... У нас этого, чтобы с девочками, извиняюсь, даже в природе не существует... А насчет чистоты — сейчас наведем... Извиняюсь... Тут в номере вчера один шаромыжник из Полтавы стоял, ну-с, насорил маленько, дело известное... Без этого, извиняюсь, невозможно... Я сейчас... Дарья! Дарья!.. Где ж ты дрыхнешь, кабыла сивая?.. В шашнадцатый из Парижу приехали... Бежи сюды, черт вшивай!..

Гостиница перевернулась вверх дном. Из четвертого, где с вечера завалились спать два небритых кавказца с сандалиями, вытаскивали всклокоченную кровать: «Ничего, душа моя, — успокаивал Васька-половой, — доспишь на канапе, тут, видишь, гость из Парижа заявился...» — «Волоки, волоки, лешай тибя придави!» — «Дарья, ставь заразом два самовара! Гость мыться хочут...» Из хозяйского номера волокли комод, и сама хозяйка на ходу оттирала с него капусту. В коридор из номеров высунулись сонные рожи, в смятых бородах торчали хлебные крошки и остатки вчерашней яичницы. Бороды вели между собой самый раздражительный разговор:

— Скажите, пожалуйста, какой буржуй прикатил! Отдай, говорит, перину!.. Васька, сукин сын, говорит... Невелика, говорит, птица, и без перины доспишь...

— Я ему говорю... Представьте, этому несознательному Ваське говорю: теперь произошло равноправие полов и национальностей... А потому, говорю: плевать я на твоего буржуя хочу!.. А он, негодяй, и говорит...

— Что же он, негодяй эдакий, говорит?

— А ты, говорит, отчего второй месяц по счету не плотишь?

Спустя полчаса миллиардер сидел в номере, сплошь заставленном вещами, и пил чай с блюдечка. Васька торчал в дверях, с жаром советуя попробовать копченой колбасы.

— Вы не сумлевайтесь, — убедительно говорил он и даже поплевал на нее и обтер рукавом, — колбаска перевеющий сорт-с!..

Миллиардер чувствовал себя превосходно. Давно уже он не чувствовал себя таким жизнерадостным. Словно и не было этого утомительного, длившегося целые сутки перелета и сегодня, как вчера в «Адлоне», он принял ванну, а не ополоснулся в каком-то мерзком тазу, едва не расквасив голову об угол косопузого трюмо, расставленного для красоты посреди комнаты.

— Ну, милый человек! — воскликнул миллиардер. — А теперь беги за автомобилем.

— Это каким же-с? — опешил Васька, но недаром он был сообразительным малым. Минуту спустя в кори доре, будя остальных постояльцев, еще осмеливающихся дрыхнуть на виду таких невероятных событий, раздался его отчаянный вопль:

— Да-арья! Да-арья, теста калужская... Лети к Страстному за автомобилем! Лети, пропащая твоя душа!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В ПЕЩЕРЕ ВРЕМЕН НЕОЛИТА

Товарищ Боб кричал в черную дыру:

— Павел Петрович, вы слышите меня? Вы живы?

Он припадал к земле, поворачивая ухо к отверстию. Ответа не было. Из дыры тянуло теплом, прелой за-

тхлой вонью и еще легким сладковатым запахом серы. Дротов молча снимал с себя пиджак. Потом он развернул вторую лестницу, к концам ее, на случай, если она не достанет до дна, привязал веревку, воткнул лом в землю, загнав его на три четверти, привязал к его концу нехитрое свое сооружение и стал спускаться в дыру.

— Товарищ, — сказал он, когда из дыры оставалась видимой только его голова, — вам следует остаться и вернуть Кухаренку и Сиволобчика. Скажите им, что с Мамочкиным несчастье! Я полезу немедленно, в таком положении его нельзя оставить. Когда вернетесь, вытащим Мамочкина и поднимемся прочь отсюда.

— Хорошо, — отвечал Боб, — я не буду терять времени...

Колодец уходил вниз почти вертикально. Спускаясь по лестнице, Дротов скоро перестал ощущать под руками землю. Фонарь он держал в зубах. Лестница крутилась, свертывалась под его тяжестью, а дна все еще не было. Свет фонарика рассеивался бледным желтоватым веером, не доставая до земли. Дротов понял, что он висел в какой-то огромной пещере, случайно проникнув в нее с потолка. Может быть, она бездонна? Тогда Мамочкин погиб... Он решил спускаться вниз, пока позволит веревка.

Вскоре он заметил в темноте маленький огонек и догадался, что это — выпавший карманный фонарик археолога. И в тот же момент почувствовал, как теплые пары серы обложили его горло.

Из расщелины — она находилась где-нибудь поблизости — с квохчущим сипением бились серные пары. Вероятно, они и были причиной падения археолога. Но Дротов недаром в молодости копал уголь в донецких шахтах; он знал, на большой глубине эти серные рудники нередки, и умел задерживать дыхание. Он ухватил веревку, обвил ее ногами и скользнул по ней вниз, готовясь каждую минуту зажать кулаки, когда под ногами обнаружится конец веревки. Скользнув, он почувствовал землю.

Археолог лежал на земле, лицом в мягкую податливую глину, по-детски подвернув под щеки кулаки. Он уже приходил в себя. Его волшебный жезл воткнулся тут же, сломанный пополам.

— Вы не ушиблись? — спросил Дротов.

— Нет. Но куда мы попали, Дротов? Какие тут, к

черту, подземные Кремли! Тут целые катакомбы!.. Где остальные?

— Товарищ Боб ушел разыскивать Кухаренко. Я думал, что вы разбились, Павел Петрович. Я послал его отыскивать Сиволобчика, чтобы на сегодня прекратить..

— Что прекратить?

— Поиски, Павел Петрович, но завтра...

— Бросьте говорить ерунду, Дротов... Никаких завтра, мы нащупаем ее еще сегодня, смею вас уверить... А ну, помогите мне подняться...

Пять минут спустя они снова подвигались по краю пещеры, стараясь не уходить от ее конечностей в глубину. Археолог предполагал, что пещера эта является неолитической. На пещерах и подземных ходах стоит вся Москва, и было время, когда наши дикие предки на зиму уходили в них на ночлег и прятались сами и прятали свое несложное добро от диких животных и врагов. Он сказал об этом Дротову.

— Если это так, пещера должна выходить куда-нибудь за Москву, вернее всего, к дюнам Москвы-реки, потому что трудно предположить, чтобы наши предки проникли в нее столь же неудобным способом, каким проникли мы...

Так прошло десять или двадцать минут: под землей путники потеряли всякое представление о времени. Они все подвигались и подвигались по краю пещеры, но конца ей не было. Тогда они решили вернуться назад и ждать возвращения товарища Боба. Путь наверх был все-таки один, а потеряв из вида фонарь, они рисковали остаться под землей.

У веревки, свисавшей вниз, как огромная серая змея, оба старика́ сели на землю, подложив мешки. Археолог предложил подкрепиться жареными котлетами.

— Приходилось ли вам когда-нибудь есть жареные котлеты сажен этак пятнадцать под землей? спросил он, усмехаясь.

— А приходилось, — отвечал серьезно Дротов, — у нас, в донецких шахтах.

Они долго молча жевали. Веревка висела безжизненным хвостом: наверху все еще никого не было. Неподалеку сипел серный газ, легкий его привкус закисал во рту. В пещере простиралась темная, до звона в ушах, мертвая тишина. Она жила таинственной и черной жиз-

нью. И от этой тишины, обволакивавшей уши, от сладковатого запаха серы — стариков придавила усталость, наседавшая тяжелым сном на глаза.

— Спать нельзя! Не спите, Дротов! — испугался археолог.

— Я не сплю, — сказал тот. И потом, чтобы сказать еще что-нибудь, языком, еле послушным от сонного забытья, промямлил: — А хорош, должно быть, был этот гусек Иван-то Грозный?

— Да, — отозвался археолог и, впадая в его тон, сказал: — Царь был обстоятельный.

— Хоть не место, да на то показывает, что вам придется о нем мне рассказывать... Не то засну!

Они потушили один фонарь, тот, что оставался гореть, прикрепили повыше на веревке: чтобы те, сверху, вернее его увидели. Оба полулегли. Дротов подпер голову кулаком, и археолог начал свой рассказ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

В ДНИ ГРОЗНОГО ЦАРЯ...

— Да, Дротов, эти подземелья, муравленые ходы, кладбище костяков, горящих страшным, мертвым светом в темноте пещер, — все это тесно связано с личностью Грозного царя, насмешника и тирана, личностью, до сих пор еще тусклее освещенной русской историей, чем наши изнемогающие фонарики. В самом деле: что мы знаем о нем? В те дни, по свидетельству историка Забелина, «память предков была унесена потоком петровских преобразований; через пятьдесят лет родная старина стала от нас дальше ассирийской». В бешеном землетрясении петровских времен, вздернувших Россию не хуже, чем сейчас, на дыбу, ушла бы от нас в историческую тьму навсегда странная и зловещая, как хлебнувшая крови сова, фигура московского царя, если б не... иностранцы, оставившие кое-какой след в мемуарах. О Грозном писали: Горсей, Флетчер, Штаден*. Но только в наши дни эти записи стали доступны русскому человеку.

В этих мемуарах во весь рост встает фигура страшного царя. Внешне «он был красив собою, одарен большим

умом, блестящими дарованиями, привлекательностью»[1], хитроватая русская усмешка сгибала сухие губы царя, и из-под спутанных бровей глядели черные глаза, ласковостью проникавшие в душу. Но чем ласковее царь был с человеком, тем большую казнь он ему готовил. Чем пышнее посылал дары, тем страшнее взимал отдачу в застенках. С детства любимым его занятием было: давить лошадью народ на площадях да с высоких кремлевских теремов сбрасывать животных. Его подбородок зловеще набухал, а нижняя губа закладывала верхнюю. Тогда лицо его напоминало «морду осатанелого зверя», глаза же мерцали желтоватой, жалеющей усмешкой: «Ох, тяжки муки рабишки моему, и он, царь, жалеет рабишку, попавшего в немилость!» Грозный истреблял своих врагов с какой-то ожесточенной планомерностью, десятками, сотнями бросал в тюрьмы, рубил головы, как кроликам, предавал жесточайшим мукам в промежутках между пирами и всенощной. И чем страшней были придуманные в застенках казни, тем усерднее молитва московского царя, распластанного ниц в горе и покаянии на церковных плитах, в скуфейке, в смиренном подряснике, еще липком от крови...

Иван Грозный царствовал сорок четыре года, и сорок четыре года Русь истекала кровью. Он предавал огню и мечу целые посады и села, большие города: Псков, Торжок, Новгород. В Москве люди боялись дышать; ходя по улицам, оглядывались вслед: не идет ли опричник? Отец доносил на сына, сын на мать, и муж доносом обвинял жену в чародействе на «государя московского». В подземных палатах — их много было нарыто под Кремлем и под Москвой — морили людей голодом, жаждой на селедке, секли правую руку и левую ногу, вгоняли иглы под ногти, сажали на кол, заливали в глотку кипящий свинец, подвешивали на дыбу, поднося чарку зелена-вина от царского стола. И люди так привыкли к крови, своей и чужой, что умирали молча, не разжимали ртов, когда в череп вонзался гвоздь, когда на щеках каленым железом выжигали похабные слова, а на площадях, в дни масленичных или пасхальных потех, когда малиновым звоном заливались московские колокола и готовили помост для казней, как на театрах, собирались на пред-

---

[1] Горсей.

ставление, и шуты и скоморохи дудели в сопелки и перебрасывались головами «государевых врагов», словно мячиками. Грозный царь взирал на народное веселие с набатной башни, сам подавал сигнал палачу рукавицей и по гривне жертвовал ему из царской казны за лихость...

«Ожесточил Грозный,— писал Горсей,— и приучил к крови свои руки и сердце, обрекая на смерть свой низкий, раболепный, лишенный всякой доблести народ». И народ, по свидетельству иностранцев, стоил тогда своего жестокого государя. «Русские, — ужасался Олеарий*,— лукавы, упрямы, необузданны, недружелюбны, извращены, бесстыдны, у которых сила выше права, которые распростились с добродетелями и скусили головы всякому стыду...» У них не было даже семьи. Они угнетали детей, бросали их на произвол судьбы, закладывали за недоимки, насильно выдавали замуж. Дети, получив наследство, выгоняли мать из дому. Женщин забивали до смерти, прятали в теремах, вокруг теремов строя для себя гаремы. Крайнее лицемерие проникало во всю русскую жизнь тогдашнего времени. Все были в состоянии непрерывной войны друг с другом: жена с мужем за его самовольство, муж с женой за непослушание или неугождение, родители с детьми за то, что дети хотят жить своим умом, дети с родителями за то, что им не дают жить своим умом... А над всем этим морем покорности и тупого сосредоточенного горя, над морем рабской хитрости, гнуснейшего обмана, самого бесстыдного вероломства — в венчанном окружении самодурства, растоптавшего всякое человеческое достоинство, свободу личности, веру в любовь, в равенство, в братство, в святость честного труда — хитрое, в смятой бороде, в бармах Мономаха, кровавым призраком поднималось жестокое лицо Грозного московского царя, ласково щурившего глаза на полыхавшие кровью плахи...

Кто же он? Вампир, садист, которому один только запах крови бередил ноздри, как хищнику, оголодавшему в пустыне? Великий трус, кровью и молитвой пытавшийся отогнать призраки и руку возмездия, не раз подъятую с роковыми цифрами? Или великий политик и стратег, презиравший свой народ до отчаяния?.. Грозный свел в могилу семь жен одну за другой, одну из них удавил на исходе брачной ночи и всю жизнь мечтал жениться на английской королеве... Англичане даже построили ему на

Белом море корабли, и он уже успел было погрузить на них свои богатства и своих сыновей, чтобы навсегда распроститься с Московией и с ненавистной ему Москвой.

На горе себе и государству он остался...

Зарыл сокровища в подземных тайниках, убил сына, пересек до смерти несколько сотен женщин и девиц и заперся в Кремле за надежной стражей двух тысяч стрельцов и сорока телохранителей, с зажженными фитилями пушек у самой спальни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

БОГАТСТВА ЦАРЯ ИВАНА ГРОЗНОГО

— Грозный собирал сокровища всю жизнь. Его глаза загорались огнем жизни только при виде крови и золота. В праздники, в прием послов — когда в простые покои его сносили несметные богатства, когда нелепо ставили их одно на другое, вовсе не заботясь о симметрии, лишь бы горела комната с пола до потолка, и рубины, и сапфиры, и жемчуга, и аквамарины, нежные, как взгляд дитяти, высвечивали мириадами звезд — он садился на свой трон, свалявшуюся бороду теребя рукою, и тогда в глазах его горело нечто, что роднило его со Скупым рыцарем Пушкина. Один его трон представлял собою сокровище неоценимое. Жена самозванца Марина Мнишек оставила в своем дневнике его описание: «Трон был из чистого золота, вышиною в три локтя, под балдахином из четырех крестообразно составленных щитов, с круглым шаром, на котором стоял на лапе орел великой цены. От щитов над колоннами висели две кисти жемчугов и каменьев, в них топаз величиной с грецкий орех, любимый камень царя Ивана, горевший тем же неверным желтоватым цветом, что и его глаза. На троне же, «любо-художества златокованы, изваяно хитростью дыхание, доброгласная и сладкая песня возглашаху. С ними же и златые древеса, на них же птицы златокованы сидяху, яко на ветвях топольных, сиречь древесных, или певгов* островерхих, хитростью издающие песни медовные».

Сейчас, когда золото только разменный знак и люди, по крайней мере у нас в России, понемногу уже отвыкают от дурной привычки украшать свои лбы и уши его

желтым блеском, мы даже представить себе не можем расточительного блеска московских царей. И не было средства, будь то обман, вероломство, грабеж, убийство, какого не употреблял бы Грозный, преумножая свои сокровища...

В 1571 году, в страшный ураган, татарский хан Девлет-Гирей поджег Москву, и в огне погибли десятки тысяч людей — бояре, дьяки, купцы, попы искали спасения в реке и московских прудах, с мешками богатств своих залезая по шею в воду. Тот, кто уцелел от огня, — утонул в воде, и на целый год Москва-река была запружена трупами. Грозный бежал со своими сокровищами в Вологду, но едва кончился пожар — вернулся на «правеж». Казнил всех, кто спасся, а имущество конфисковал.

Он брал деньги у посадов и городов взаймы без отдачи. Он напускал татар на города, а те, разграбив, отсылали награбленные (из шестисот посадов и церквей при налете на Дерпт) богатства «своему родственнику». Он напускал на области бояр, чтобы те, правя, вволю насосались народной крови, выколачивая из своих подданных богатства взятками, неправым судом, поборами, а потом предавал бояр казни, ограбленное ими добро отбирая в свою пользу. Казалось, будто целые дни он только и думал о том, как отобрать, ограбить, отнять, заточить, убить, измучить...

Так, городу Перми приказал доставить кедрового дерева, которое в Перми не произрастает, а когда по этой причине кедрового дерева не доставили — велел взыскать с нерадивых к воле государя пермяков двенадцать тысяч рублей.

Так, городу Москве, сорвав с шута колпак, приказал наполнить оный колпак блохами для лекарства. А когда сказали ему, что буде и удастся собрать по Москве столь ужасающее количество блох, то в колпаке удержать их не можно, ибо они «распрыгаются», — повелел наложить на город Москву контрибуцию в семь тысяч рублей.

Поехал однажды на охоту и не убил ни одного зайца. Значит, всех зайцев вытравили бояре — наложил контрибуцию в тридцать тысяч рублей.

Но подлее всего разыграл он комедию с отречением от престола. Сняв с себя бармы Мономаха, посадил на золотой свой трон сына казанского царька Симеона*, а

сам сел на ступеньках: «Я — не царь больше, смиренный Ивашка — рабишко твой». Но заодно уже переложил на нового царя все долги и обязательства, а грамоты и привилегии, выданные им, «рабишкой Иваном», объявил недействительными. Государству грозил крах. Бояре, духовенство, купечество умоляли царя вернуться на престол. Он милостиво вернулся, но поставил условием, чтобы все хоть сколько-нибудь состоятельные в государстве люди поднесли ему неисчислимые дары и подношения... А грамоты и льготы все-таки были написаны заново, и Грозный получил за них большие деньги..

Все эти богатства Грозный должен был прятать. Куда же?

Мамочкин говорил монотонным, размеренным голосом, словно в большой жбан цедил воду. Дротов крутил одну за другой папиросы, думая о том, что — вот прошлое! Вот прошлое его, его предков!.. Сколько же лет нужно, чтобы наследственную тяжесть этого коварства, лжи, крови, тяжкой власти золота — смыть, забыть, уничтожить!.. В пещере было душно, в упругой темноте, как в пустом и темном храме, липкая, мертвая до шорохов простерлась тишина.

— Так где же теперь все эти богатства? — спросил Дротов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ТАЙНИКИ ГОСУДАРСТВА МОСКОВСКОГО

— Где же искать эти неоценимые, страшные сокровища? — воодушевляясь, продолжал Мамочкин. — Есть исторические тайны, над которыми ученые тщетно ломают головы целыми веками. Вот одна из таких тайн — богатства царя Ивана Четвертого, богатства, в которые можно уложить трех Фордов, Рокфеллера и с десяток Ротшильдов! Где они? Куда они могли деться? Все, что осталось после смерти Грозного, было переписано и дошло до наших дней... Так куда же могло деваться золото из Пскова, Дерпта, Казани, Новгорода, Торжка, из сотен русских городов и посадов, на которые ходил войною царь Иван, из тысячей монастырей и церквей, которые он разорил?..

Многое таит в себе подземный Московский Кремль! Если не мы с вами — по нашим следам придут люди в эти темные глухие пещеры и найдут его. Но, конечно, не только в одном Кремле они сокрыты. Личный приятель Грозного англичанин Горсей признавался: «Разделив добычу, Иван Грозный разместил свои сокровища и скарб частью в Москве, частью в безопасных и укрепленных монастырях».

— Но где же все-таки?

Мамочкин заговорил с той тревожной мечтательностью, с какой иногда очень молодые люди, влюбленные в первый раз, говорят о «предмете своей страсти».

— Я думаю, прежде всего в селе Коломенском, знаменитом подмосковном имении Ивана Грозного и месте его рождения. Еще отец Грозного, царь Василий Иванович, построил там военно-обсервационную башню, остроумно подделав ее под церковь. Это — нынешняя Вознесенская церковь. Грозный углубил подвал церкви на девять аршин и заполнил его белым камнем до уровня почвы. Внутри бута он оставил камеру, в которую сложил часть своих сокровищ. Хитроумная выдумка эта вполне в духе Грозного. Вы знаете? — Мамочкин понизил голос до страстного шепота. — Я ведь копал там! От удара в церковный пол слышен характерный звук пустоты. В 1917 году кладоискатели пробовали даже буравить бут шурфом, но наткнулись ли они на камеру — осталось неизвестным. Кроме того, я думаю, что и стены этой башни-церкви кое-что скрывают в себе. Мы же знаем, какие тайники замурованы в стенах храмов: в Мцхетском соборе в Грузии, в новгородской Софии, в московском Архангельском соборе...

Возможно также, что кое-что скрыто в Троицко-Сергиевской лавре. Правда, там почти к поверхности подходит грунтовая вода, а это делает невозможным глубокие подземные тайники, но ведь историкам известны подземные ходы в этой нашей твердыне против поляков, да и Горсей утверждал довольно определенно: «испуганный налетом Девлет-Гирея на Москву, русский царь бежал в самый день Вознесения с двумя сыновьями, сокровищами и телохранителями к укрепленному монастырю Троицы в шестидесяти верстах от Москвы».

Из Троицкого монастыря царь бежал дальше, на Вологду, куда он, по свидетельству того же Горсея, перевез

значительную часть своих сокровищ и туда же выписал из Англии ученых ремесленников. Они построили ему «каменный дом для казны» и большие лодки и барки, чтобы в случае нужды он мог везти свои сокровища водою в Соловецкий монастырь, откуда лежал прямой путь в Англию.

Я думаю также: тайники Белоозера, что верстах в пятнадцати севернее Ярославля, таят в себе немало сокровищ московских царей. Озеро это рекою Шексною, по болотам, соединяется с Волгой. Еще Герберштейн* указывал на возможность тайников в Белоозере, и, уж конечно, подозрительный, не веривший никому Иван Грозный не обошел этого глухого места своим вниманием.

И наконец — Московский подземный Кремль... Сюда, куда теперь и мы с вами пробрались с помощью упорства и настойчивости, он прятал лучшее, что имел. Здесь, и нигде больше, по всем данным истории, логики и здравого смысла, им запрятана не только большая и лучшая часть богатства, но и «бесценное сокровище» — библиотека.

— Библиотека! — мечтательно повторил Мамочкин. — Вот я вижу ее словно живую и прекрасную, мои руки ощущают скользкое золото ее переплетов, тонкий пергамент страниц пахнет столетиями еще нежнее, чем щеки надушенных красавиц, а черные буквы неведомых титульных листов блестят с лукавостью обворожительных глаз... Прототипом библиотеки царя Ивана послужила, конечно, первая по времени на Руси библиотека Ярослава Мудрого, скрытая в подземных тайниках Софии киевской. Часть книг этой библиотеки, преимущественно светского содержания, была скуплена Грозным в 1554 году и вывезена в Москву; он присоединил ее к книгам Софии Палеолог. В чем же, однако, ценность этих Софьиных книг? Почему «мировым скрытым сокровищем» зовут историки этот таинственный клад? Да потому, что София вывезла остатки книг своего отца Фомы Палеолога из Византии, растерзанной турками страны, а в Москву привезла их потому, что латинский церковный фанатизм угрожал погубить книги в Риме. К этому ценному приобретению Грозный, со всей свойственной ему жадностью, прибавлял книги всю свою жизнь. Он выпрашивал их, как, например, у датского короля Христиана, захватывал их, по праву завоевания, как северонемецкие кни-

ги и ганзейские гравюры в Новгороде, Пскове, Дерпте, а чаще скупал их через своих послов за границей, не жалея никаких денег. Удивительно ли, что к нему попали не только уники Византии, но даже книги забытых ныне авторов Рима и Греции? Удивительно ли, что вот уже в течение четырех столетий библиотека царя Ивана навевает человечеству золотые, неразгаданные сны?..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Товарищ Боб соскользнул вниз по веревке. Белый от волнения, он долго не мог говорить. Он пожимал плечами, недоумевая. Нервно раскуривал трубку, набивая ее в кармане одним движением большого пальца.

Он рассказал, что, выйдя один в коридор, он ощупью выполз в первую пещеру и в ней, на кладбище царя Ивана, так называл он склад фосфоресцирующих костяков, наткнулся на труп Сиволобчика, погибшего загадочною смертью. Сиволобчик лежал на черепах, вскинувшись навзничь, его лицо было сине, словно сожжено током высокого напряжения, ресницы и брови опалены, слизистая оболочка губ фиолетова и уже гноилась. Так иногда убивает молния. Он обыскал карманы Сиволобчика, в них оказалось: пакет махорки, сломанный перочинный ножичек, новенькая свистулька, должно быть для ребенка, тридцать копеек серебром и гаечный ключ. Товарищ Боб двинулся дальше, отыскивая Кухаренко. И тот лежал с теми же признаками насильственной смерти, и также гнойной фиолетовой лентой обтягивали губы желтый оскал его рта. На груди Кухаренко была приколота записка на немецком языке, которую товарищ Боб принес. Вот она:

«Вы сегодня счастливее нас. Но — до скорого свидания».

Итак, русская экспедиция не только открыта, но иностранцы вывели из ее строя уже двоих участников. И кто знает — быть может, теперь они уже заложили выходы из-под земли и тем обрекли на верную гибель остальных участников.

Тогда, — рассказывал товарищ Боб, я решил проверить выход. Я потушил фонарь и на коленях пополз по коридору, время от времени оглаживая в темноте стены, чтобы не сбиться. Я знал, что пока под руками будут муравленые камни — я на верном пути..

Но свет моего фонарика чуть-чуть не погубил меня. Едва я успел забраться в люк и притворить за собой покрытую паутиной дверку — я услышал шаги по коридору, и голос возле самого моего уха сказал по-немецки:

Значит, они где-то рядом, если с трупа снята записка... Вы поторопились, герр Шпеер, сыграть отбой... Я категорически предлагаю вам возобновить поиски...

В щели дверцы пробился рассеянный фиолетовый свет, я почувствовал боль на руке, как от ожога. От этого дьявольского ожога еще и теперь горят мои руки. На них полопалась кожа, как на лицах наших товарищей. Несомненно — они убиты этими лучами.

Иностранцы прошли к кладбищу царя Ивана, и, когда шум их голосов замолк, я решил еще раз открыть люк. В коридоре было темно, на самом конце его виднелся фиолетовый круг выхода. Видимо, они обложили лучами коридор и во всеоружии ждали нас. Я залез в люк и приготовился ожидать с не меньшим терпением. Я набил трубку, закурил и даже с некоторым комфортом развалился в этом коттедже величиной с гроб для младенца. Так прошло полчаса. В коридоре было тихо. Немцы ожидали со всем упорством своей нации. И счастье ваше, что вы ничем не обнаружили своего присутствия в подземных ходах! Иначе вас неминуемо постигла бы участь Сиволобчика и Кухаренки...

Я не успел оправиться от волнения, как по коридору опять прошли немцы.

Тот же голос сказал:

— Вы видите, герр Кранц, я был прав... Нам придется на сегодня прекратить поиски и попробовать их завтра.

— Вы плохой немец, дорогой Шпеер, — с досадой отвечал другой голос, — мы должны, наоборот, продолжить их с удвоенной энергией. Но мы переменим нашу позицию. Если русские сегодня найдут библиотеку, они пройдут назад здесь. Мы подождем их у выхода. Тогда мы сумеем поблагодарить их за столь неожиданную помощь.

Голос при этом рассмеялся злым смехом.

Они прошли. Я, не теряя времени, выбрался из своего убежища и ползком направился к вам. Я думаю, что они не переходили через кладбище царя Ивана, иначе они обязательно заметили бы дыру и лом, который торчит в ней, словно верстовой столб. Я загнал его подальше в землю и спустился сюда... Не правда ли, я приношу ужасные сведения?.. Мы открыты. Иностранцы стерегут выходы смертельными лучами, от которых уже погибли два наших товарища.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ ПОДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД

По совету Дротова решено было продвигаться бочком, по краю пещеры, по которому уже прошли было, но из боязни потерять фонарь вернулись обратно к веревке. Товарищ Боб держал наготове револьверы в обеих руках. Идти было трудно, почва с каждым шагом становилась все более рыхлой и влажной, все сильнее слышался клокочущий шум воды, будто где-то под ногами бился подземный поток.

— Вода, не иначе! — догадался Дротов.

Вода была рядом. Через двести шагов ноги уже стали вязнуть в хлипкой жиже. При фонарях было видно: по правому боку пещеры протекал поток, берег болотист, но вода прозрачна, как голубоватый аквамарин, и очень чиста. Свет фонарей проникал в воду до дна, в свете казалось, что она горит; острое зрение Дротова уловило движение легких теней в прозрачной глубине, словно перепуганные стаи рыб метались от пронзительных проколов лучей.

— Рыба, не иначе! — снова догадался Дротов. — Но откуда, полено ей в рот, она сюда попала?

— Я думаю — это подземное течение Неглинки, — отвечал археолог, — вы же знаете, что она где-то под Москвой уходит в землю. Под Кузнецким мостом и под Тверской ее удалось вогнать в трубы и в деревянные желоба. Но местами она течет под землю свободно, и очень возможно, что рыба в ней водится и здесь, увлекаемая под землю течением... Точно так же Рейн и Дунай соединены подземной рекой. Нам, во всяком случае, нужно

держаться подальше от берега. Но осторожно... Иначе мы опять ввалимся в какую-нибудь дыру!

Они повернули влево, археолог опускался на колени и словно вынюхивал тьму, подходившую близко, к самому лицу. Тогда шедшие сзади Дротов и товарищ Боб останавливались, ожидая чуть слышного:

— Вперед!

Своды пещеры были огромны. Она уходила вверх ноздреватым гигантским потолком, свет не достигал его поверхности, теряясь в сладковатой, дымящейся на фонариках тьме. По правому ее боку, при фонарях, обнаружились сосульки, свисавшие правильными сталактитами, словно пальцы огромных обессиленных рук, спадавшие с кресла. Они были сероватого отлива, свет преломлялся в них, как в призмах, но подойти к ним ближе и определить породу было нельзя, так как пришлось бы переходить поток. Было похоже, что путники попали в большой забытый храм, прозрачные потолки которого занесло песками, но колонны внутри еще не обвалились, и стены еще удерживают тысячелетнюю давность от тяжелой поступи времен.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПУСТЯКОВОГО РАЗГОВОРА

— Здесь мы отлично расположимся, мой друг, — сказал Кранц, складывая свою губительную машинку и садясь на отвал глины. Они подошли к выходу, через который часов восемь назад проникли в подземелье. Все это прежде всего утомительно! Проблуждать целую ночь в дурно пахнущих сырых подвалах, без каких-либо реальных результатов! Впрочем, герр Кранц был упорен, как настоящий немец.

Он аккуратно снял пиджак, вывернул его наизнанку, сложил в виде подушки и, постелив на него чистенький, почти несмятый платочек с голубенькой каймой, улегся отдохнуть. В карманах его оказались «штули» — прекрасные бутерброды с колбасой. Два он съел, один протянул Шпееру, «негодяю» же не предложил ни одного.

«Свинья! — с досадой подумал «негодяй», — ну погоди ж ты!»

Потом он заговорил, видимо продолжая начатый разговор:

— Мне совершенно безразлично, дорогой Шпеер, что мы с вами ищем в этой дьявольской дыре! Пусть это будут богатства даже всех московских царей или только булыжники отвратительной московской мостовой. Я получил задание, мне за это хорошо заплатят, остальное меня решительно не касается. Я поступаю, как истый немец... Если при исполнении моей задачи на пути оказались некоторые препятствия, будь это обвал, который мы с вами устранили, или живой человек, которого устранила моя машинка, мне, даю вам слово честного человека, совершенно безразлично.

«Вот оно что! — испугался «негодяй». — Ну-ну!..»

— И наконец, разберемся в вопросах: кого ликвидировала моя машинка? Один с усами, другой даже без усов. Но ведь их так же много, как китайцев или негров... — он зевнул, достал сигару. — Хотите сигару, дорогой романтик? Нет? Напрасно! Хорошая сигара освежает мысли.

— Мер-рзавец ты! — с тоской прохрипел «негодяй».

Кранц, будто угадывая мысли «негодяя», повернулся к нему:

— А что вы скажете по этому поводу, дорогой герр Басофф? Впрочем, вы, кажется, тоже швейцарец? — И он еще раз зевнул, довольный неожиданным каламбуром. — А нам, дорогой швейцарец, в данную минуту нужно беречь время. Я предлагаю установить дежурство, не спать одному, остальным же можно отлично выспаться...

— Хорошо! — сказал Басофф. — Я могу дежурить первым.

Оба немца улеглись на глине, положив чистенькие платки под щечки. Шпеер свернулся калачиком, совершенно подавленный металлической логикой своего компатриота. Право же, он был неплохим человеком и отцом семейства! В Веймаре, по которому еще так недавно, поддерживая на ходу звезду, проходил медленной походкой он, советник, друг короля и поэт, остались: Берта, не потерявшая способности краснеть от каждой двусмысленной шутки даже после десятилетнего замужества, дети, певшие по воскресеньям кантаты об ангелах и птичках, кружка пива после обеда и друзья, приходив-

шие по субботам выкурить трубку и обсудить новости переменчивой политической жизни.

«Странная вещь — судьба!» — честно размышлял Шпеер, и, закрывая глаза, как всегда, он, примерный отец и муж, постарался представить себе, что делается сейчас в чистеньком домике в Веймаре, за садиком, за занавесочками с кремовыми трубадурами на них. — Вот Берта вошла с кофейником, Фриц и Мици сидят на высоких стульчиках с чинной благовоспитанностью немецких детей, которые, конечно, не ходят голышом, как дети в этой ужасной России. «Дети, — говорит Берта, — отодвиньте на минуту стаканы и вспомните вашего папу. Что делает теперь ваш папа?» Мици, какая воспитанная девочка, эта Мици, пухлыми, словно перевязанные колбаски, пальчиками отодвигает стакан и подымает глазенки к небу. На ее глазенках, голубых, как василечки с полей Веймара, дрожат слезинки. О, эти святые детские слезинки! О, эта бессильно опущенная с кресла рука жены и взгляд, устремленный поверх детских головок! Ему казалось, что взгляд Берты проходит через поля и горы, прямо к нему, и в такие мгновения — он с ними, в тесном кругу семьи, цели и оправдания своей жизни...

«Завтра пошлю им письмо!» — подумал он, засыпая

Инженер Кранц давно уже спал тем спокойным сном, каким спит математик или хирург, совершивший сложную операцию.

Но «негодяй» не спал.

Кто знает, какие бури разбушевались в этой русско-швейцарской душе? Потряслась ли она столь нелестной характеристикой славянства, данной инженером Кранцем? Заговорило ли в ней наконец самолюбие? Или какое-нибудь гениальное мошенничество созрело в глубинах широкой натуры, для которой нет ничего невозможного: будь то швейцарский паспорт или Московский подземный Кремль. Но только, когда оба инженера заснули и Шпеер уже видел во сне, как он идет к своему домику и Фриц и Мици бегут к нему навстречу в голубеньких костюмчиках, «негодяй» потихоньку свернул губительную машинку и полез наверх в дыру подземного хода. Он отвалил доску. В отверстие ударило резкое весеннее солнце, а воздух был крепок, как вино.

Он осторожно вылез в дыру, доску привалил опять,

навалил на нее сверху камней, аршина на полтора затрамбовал землей, подумав при этом, что так будет надежнее и хода немцам теперь не отвалить, если даже они взорвут его динамитом. Потом, сбив с машинки статив, он завернул ее в платок и стал подниматься на поверхность...

Солнце уже поднялось над крышами, по улице гудели трамваи, был как раз тот час, когда Фредерико Главич с неизъяснимым наслаждением хлебал чай в номерах «Савелово», а Дарья как ошпаренная летела к Страстному за автомобилем. «Негодяй» стряхнул с коленок землю, отдохнул с полчаса на Страстном бульваре и не торопясь пошел обратно по Большой Дмитровке к дому, который выходит углами на Софийку и Неглинный...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

О ВРЕДЕ ОПРОМЕТЧИВОСТИ

Ворвавшись в кабинет инженеров, чтобы плюхнуться на диван и отдышаться от таких невероятных событий, «негодяй» как вкопанный остановился на пороге.

В кабинете сидел Фредерико Главич.

— Вы здесь? — пролепетал он, проглатывая язык.

— Как видите.

— И давно вы здесь?

— Только что, дорогой компатриот. Ну, как дела московского метрополитена?

— Ах, это такой кошмар, вы даже представить себе не можете... Если бы не пятьдесят тысяч франков, которые вы мне обещали, дорогой патрон, я ни за что не согласился бы претерпеть подобные ужасы. Я едва остался жив! Все остальные члены экспедиции погибли, — тут он со скорбью снял кепку. — Единственным утешением им будет сознание, что погибли они смертью героев.

И он рассказал удивительные вещи. Как с отвагой и с величайшим презрением к опасности экспедиция спустилась под землю. Как втроем, имея только машинку с губительными лучами, они под землей отбили нападение целой дивизии большевиков. Как инженер Кранц с лопатой бросился в атаку, а бедного инженера Шпеера взяли в плен и живьем сожгли на костре. Он — швейцарец,

но он клянется отмстить за германских подданных, погибших столь невероятным образом.

Миллиардер с интересом слушал смертоносный доклад своего служащего. На толстых его губах висела улыбка, и он подбирал губы, словно боялся ее обронить.

— А скажите, дорогой Басофф, — спросил он внезапно,— как вы намерены поступить с вашей невестой?

— С какой невестой? — опешил «негодяй».

— Я не знаю, как ее зовут... Княгиня Обло... Обле... словом, она была здесь минут за пять до вашего прихода, жаловалась, что вы... э-э-э... словом, я прочел вашу расписку о том, что... э-э-э... вы признаете себя отцом ее ребенка и обязуетесь на ней жениться... Я, господин Басофф, не люблю невыполнения моими служащими их обязательств... Бедная женщина очень убивалась. Я дал ей слово, что вы получите ваш гонорар только после свадьбы на этой обма... э-э-э... этой бедной женщине.

«Негодяй» молча, словно подрезанный стебелек, свалился в обмороке. Есть вещи, под которыми безмолвно падают даже слоны.

Полчаса спустя миллиардер и «негодяй» шли по улице. Они молча дошли до Театральной площади, постояли у цветочных портретов. Главич задумчиво поковырял палкой газон, потом сказал:

— Я должен побывать у посла. В четыре я буду дома, в «Гранд-Отеле Савьелово». Вы мне сообщите туда о своем решении. В пять я назначил прийти этой бедной женщине... До свидания, мой опрометчивый друг.

Он пошел по тропе, тяжело опираясь на палку. «Негодяй» посмотрел ему вслед с плохо скрываемой ненавистью.

— В четыре... Ну-ну... Извозчик!.. на Бутырки!..

— Кэтт! Вы здесь? Мое сердце предчувствовало, что вы здесь. Едва этот далматинский мастодонт сообщил мне, что он остановился в «Гранд-Отеле Савьелово», я опрометью бросился сюда! Кэтт, соберите все ваше мужество и выслушайте меня спокойно...

Кэтт полулежала на канапе, также после двенадцати перетащенном Васькой сюда из номера небритых кавказцев. На ней был халатик, от нечего делать она чистила

ноготки и размышляла о горькой своей судьбе. Семнадцатилетней девушкой на берегу моря, купаясь в трико телесного цвета, простенькая, как стебелек одуванчика, веселая, хохотушка, она прикрывала глаза ладонью, когда по горизонтам тянулись паруса и черные дымы кораблей. Дочери рыбаков ждут паруса своей жизни с горизонтов. А он, рыхлый и неподвижный, как дохлый спрут, тут же за ее синой лежал на песке и думал раздраженной от немочи мыслью о том, что пора тянуть веслами к родным берегам: они лучше обманчивых берегов чужбины. Счастье подуло с гор, и мать советовала ей не упускать столь редких в жизни рыбачки парусов. Потом она научилась вставать в четыре, с головной болью, откладывать деньги на книжку в банк, размышляя, полировать ноготки и жить по ночам, когда женщины в больших черных шляпах напоминают бабочек смерти, стремглав летящих на огонь. Но она верила в свою звезду; пусть только округлится сумма, с которой будет не страшно спросить свое сердце: чего же ты хочешь теперь?

— Кэтт, по дороге сюда я звонил на аэродром... Летчик улетает в Кенигсберг сегодня в половине пятого. Завтра мы с вами в Берлине. Завтра мы навсегда свободны. Завтра же я скажу вам: моя маленькая крошка... А книжка? — спросил он внезапно, выпуская ее руки.
Он взял ее с собой?

— В чемодане!

«Негодяй» вздохнул с облегчением.

— Завтра же я скажу вам: моя маленькая крошка, мы можем быть счастливы, если успеем снять с текущего счета те два с половиной миллиона, которые совсем не составят большой бреши в капиталах золотого осла. Не губите же своей молодости, Кэтт!

Кэтт в полуобмороке закрыла глаза. Нет, нет... Но вот сегодня он вернется, он возьмет ее за подбородок своими желтыми вялыми пальцами — на ногтях пальцев уже светится синевой смерть, — он откинет ее голову, как слизняк, приклеится к ее губам и будет поцелуем тянуть душу из нее, тянуть жизнь...

— Хорошо! — прошептала она покорно.

Тогда «негодяй» прикрыл дверь, на замочную скважину, в которую уже всверлился внимательный Васькин взгляд, накинул пальто и, пока Кэтт лихорадочно, как при пожаре, надевала дорожное платье, «негодяй», открыл

чемодан миллиардера, вынул из него чековую книжку, печать, которой Главич припечатывал свои чеки, с усмешкой потряс грязными клетчатыми носками миллиардера и бросил их на подушку, потом аккуратно закрыл чемодан и принялся составлять записку, которую он решил послать миллиардеру в момент отлета с посыльным:

«Мой опрометчивый друг, — писал «негодяй», — те пятьдесят тысяч франков, которые вы должны мне заплатить в качестве гонорара, вы можете отдать моей «невесте», если эта каракатица осмелится вас побеспокоить. Все же она была полезной этой умопомрачительной затее — обессмертить далматинского золотого осла с помощью подземной Москвы. Правда, в московских подземельях я не нашел ни одной книжки, но зато я нашел целую библиотеку в сердце вашей очаровательной Кэтт, прилежным прочтением которой мы теперь и займемся. Не пробуйте отыскать нас, потому что я такой же швейцарец, как и «Басофф», как вам угодно было меня называть. Мне же очень жаль, что вы до сих пор не попробовали обессмертить свое имя тем простым способом, который известен каждому рыбаку, но зато более надежен, чем слава и даже миллиарды. Если же и этот способ вам теперь не под силу — плюньте в последний раз в пломбир и прикажите его вынести.

С совершенным почтением
Теодор Басоффффф...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

ВЕДЬ ПУЛИ ЛЬЕШЬ! НЕ ДАШЬ!

Миллиардер вернулся в пятом часу пешком. В трамвай он сесть не смог по тучности своего сложения, ехать на извозчике второй раз за один день не рискнул, а автомобиля не мог разыскать. У посланника он отказался завтракать: после чая его слегка мутило, пиво же, которое он рискнул выпить по пути в пивной, заев его ради любопытства моченым горохом и воблой, окончательно перевернуло его кишки. У него болела голова. Он думал,

что, как только придет, попросит Кэтт послать за коньяком и свежими сливками. Посланник, конечно, был дипломатом, он говорил много, но не сказал ничего, а раз, внезапно обернувшись, Главич поймал его иронический взгляд, сверливший ему спину.

Васька приветливо махнул салфеткой и растворил двери с величайшим почтением.

— П-жаллт-ссс!..

Он тут же обмахнул салфеткой пыль со стола и с ботинок миллиардера.

— Самоварчик прикажете-с?.. М-мигом! — сорвался он, не ожидая ответа.

— П-с-т! — слабо свистнул миллиардер. — Где дама?

— Ушли-с с господином другим иностранцем... Велели передать, что будут к восьми-с.

— Хорошо. Никакого самовара не нужно. Я лягу отдохнуть. Никого не принимать. В семь с половиной разбудите.

— Слушаю-с!

— Можете идти.

Васька волчком выкатился из комнаты. По коридору зазвучали его крепкие сапоги, но звук их оборвался внезапно, а в скважину опять всверлился пронзительный глаз. Но миллиардер не видел пронзительного глаза, — не раздеваясь, он прилег на кровать, головой на грязные клетчатые носки; кровать провалилась под тучным его телом, шею душил воротник. Главич сорвал его, но рука вдруг налилась свинцовой тяжестью!

«Должно быть, мне плохо, — подумал он, — жаль, что нет Кэтт!»

И с этим последним именем в длинном списке житейских событий — прошлая жизнь поднялась из памяти, поплыв перед глазами, как круги обморока, как дышащие кольца внезапной дурноты... Жизнь прошла, он стар, он — больной, уставший человек, не успевший в жизни сделать того самого главного, ради чего мучился, наживал миллиарды и жил... Оно все должно было прийти, это самое главное, но оно не пришло никогда, или, может быть, ему самому было некогда... Как хорошо вот так просто лежать на кровати в маленьком московском номеришке, где даже не подозревают о страшных его богатствах, согреться, как в детстве под теплым платком матери, и заснуть, заснуть..

Тогда в огненных кругах плеснуло море, одно огромное и непостижимое. В те дни, когда он еще умел радоваться его неискусным цветам и вольной игре ветра — это было прежде! И будет ли это вновь? — Простым рыбаком он уходил с отцом, и было счастье, когда отец впервые дозволил крепить паруса, и было счастье, когда впервые дрожащей рукой он сам потянул сети, и они бултыхнули живым серебром...

«Я болен!» — устало подумал миллиардер.

Он с трудом поднял руку, чтобы нажать кнопку звонка, но рука скользнула по стене и не нашла его. Тогда он слабо вскрикнул, и сам удивился слабости своего голоса: он был тонок, немощен, как голосок больного ребенка.

Дверь сразу же распахнулась, и предстал Васька, оправляя свесившиеся на глаза кудри:

— Чего-с прикажете?

— Дай мне воды! — прошептал миллиардер.

— В секунд!

Было до боли отчетливо слышно, как он ополаскивал стакан в коридоре и говорил кому-то свистящим шепотом.

— Прошу! — сказал Васька, ловко протягивая стакан на ладони.

И опять толстые губы миллиардера развела скорбная, но добрая улыбка.

— Сядь! — сказал миллиардер. — Посиди вот тут, — он тронул тяжелым пальцем кровать.

— Ничего-с!.. мы и постоим-с... наша сила-с в ногах...

— Сядь! — настойчиво повторил миллиардер. Почти детская, веселая мысль скользнула улыбкой по его дряблому лицу.

— Скажи мне, мой друг, что бы ты сделал, если бы у тебя было два миллиона?

— А что-с! — равнодушно протянул Васька. — Что в наше время на два лимона путного укупишь?.. Коробок-с, один коробок-с спичек, спички шведские — изволили слышать? — головки советские... вот если бы трешник по червонному исчислению — тут, ваше здоровье, музыка серьезная... Тут я, ваше здоровье, новые союзки к сапогам справлю да матери рупь-целковый на покос спошлю... Знай Васькину доброту!.. Только ведь

ты зря! Арапа заправляешь над бедным человеком, который несостоятельный...

— Чего? — с испугом спросил миллиардер.

— Трешника-то, говорю, не дашь... Так, пули льешь со скуки.

— Какие пули? Зачем пули? — еще тише спросил миллиардер, но он понял. Он откинулся на подушку, охватил непослушными пальцами Васькину руку, сказал раздельно, упирая тускнеющий синевой глаз в угрястый Васькин лоб: — Я умираю.

Васька вскочил на ноги.

— Стой! — пронзительно закричал он. — Стой! Господин иностранец... Хлопот-то! Хлопот! Погоди минуточку — я за милицией сбегаю.

И, ловко выдернув из-под головы миллиардера клетчатые носки и на ходу засовывая их в карман, он бросился в коридор.

— Граждане, милые! — заорал он не своим голосом, заглушая грянувший в пивной хор «русского ансамбля». — Иностранец из шашнадцатого помирать собрался...

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

ТАЙНА АРИСТОТЕЛЯ ФИОРАВАНТИ

В это время археолог пополз вперед на коленях, сделав знак, чтобы Боб и Дротов двигались за ним. Так доползли они до края пещеры; у края были сложены камни, словно кто-то воздвигал здесь памятник и вот уже вывел фундамент из серых массивных глыб и повел кверху тонким шпилем, но не закончил постройки. На одном из камней при свете соединенных фонариков выступали темные пятна вмуравленного металла. Археолог увидел монеты, на которых отчетливо проступала надпись: «Аристотелес» — и золотой браслет, который Боб тотчас же руками, трясущимися, словно в приступе малярии, отковырял со стены.

На браслете были выгравированы цветы, летящие по ветру, год 1475-й, тот год, когда, поддавшись увещаниям Толбузина, уже великим мастером прибыл он в Московию и, наконец, они: целый ряд странных чисел и зна-

ков. На золоте они проступали, как чернь, — отчетливо и ярочно.

Это была могила Фиораванти, величайшего строителя, умевшего передвигать башни и колокольни, чей магический секрет до сих пор оставался загадкой для зодчих. Боб держал в руках эту чудесную загадку. В жадности он поднес браслет к губам, словно хотел его съесть.

— Здесь в стене еще клинок! — вскричал Дротов. — Вот он!

Он вытащил из расщелины шпагу, времен Венеции. На плоском ее эфесе горели камни, а по клинку — видимо, тем же стилетом и той же рукой «гордого воеводы», не склонившего выи — было нацарапано о том, что шпага найдена на муже знатном, истлевшем в подземелье тако, что одежда была натянута прямо на шкелет, и буде не шпага и браслет, а тако ж монеты — определить, коего он рода — знатного или подлого — не стало б возможно.

— Вот останки того, кто построил Кремль и сам первый пал жертвой! — прошептал археолог.

— Да почему же? — взволнованно спросил Боб.

— Кто знает! Кто знает! — заговорил археолог тем нерешительным глуховатым голосом, который всегда показывал у него, что вот, вот сейчас он догадается, пусть только ему не мешают. — Я не хочу делать какие-либо выводы, но вы сами сопоставьте факты, оставшиеся в истории о жизни этого замечательного строителя. Он жил в Венеции, он был богат и знатен, и есть указания, что даже константинопольская царевна София Палеолог, которая стала женой Ивана Третьего и которая — заметьте! — приехав в Россию, привезла с собой библиотеку, знала его еще в Италии. После отъезда Софии он, знаменитый мастер и гордость своего отечества... за десять рублей в месяц едет в Москву... строить для царя Ивана Третьего Успенский собор, и Кремль, и подземные ходы под ним. А сто лет спустя его труп и на нем вот эти первые монеты, которые чеканил он же для Московского государства, находят в подземелье несчастные пленники царева внука...

— Так что же? — воскликнул Боб. — Книги Софьи или сама Софья?

— Я не знаю, что могло его привести сюда! Я боюсь

сделать какой-либо вывод. Может быть, книги!.. Да, да, пожалуй, конечно, библиотека, но разве он спустился бы сюда один, без провожатых, если он думал завладеть ею? А может быть, волей царя Ивана сбросили слишком пылкого итальянца, который однажды не успел вовремя отвести влюбленного взора с лица московской царицы...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

«НЕВЕДОМОЕ СОКРОВИЩЕ»

Прошу вас — сказал археолог, протягивая пальцы за браслетом.

— О нет! Это я вам не отдам... Это — мое, — вскричал Боб, — и по праву находки, и по праву...

— Как все, что мы здесь обнаружим, — строго сказал археолог, — браслет принадлежит Советскому государству, и я должен его сегодня же, вместе с шишаком, шпагой, монетами и образцами костей, сдать в Исторический музей...

— Павел Петрович, — захлебываясь слюной, заговорил этот спокойный, всегда выдержанный и, в сущности, совершенно неизвестный юноша. В первый раз археолог разглядел его внешность. В свете фонариков Боб — в широкой берсалино над презрительным изломом бровей и смолью волос — чем-то напомнил вдруг того, перед чьей могилой они сейчас стояли. Смутная догадка уколола Мамочкина.

— Послушайте, — испугался он, — вы кто?

— Я — Бембо Форонди... Я итальянец, но все мои предки жили в Казани, где, если вы помните, Иван Грозный убил последнего Фиораванти, внука строителя. В революцию я уехал в Болонью, в ней я раскопал историю своей родословной и вот... Павел Петрович, я имею некоторые основания полагать, что моя фамилия была искажена временем и что настоящая моя фамилия...

— Вот оно что! — присвистнул Мамочкин.

— И вот... — тут Боб заговорил с величайшим волнением, — вы, конечно, знаете старинный храм императора Адриана в Риме! Теперь в нем помещается биржа, а над входом, в который прежде величественно входили императоры и жрецы, сейчас красуется жирная отчетли-

вая надпись: «Камера ди комерссиа». Одиннадцать колонн поддерживают этот храм-биржу... И вот четыре из них источены временем и пошатнулись... Тогда мне показалось, что, владей я чудесным секретом моего предка, я смог бы, как он, выпрямить колонны или перетащить их в другое место вместе с храмом...

— А зачем? — рассеянно спросил археолог. — Я предпочел бы, чтобы они рухнули вместе с биржей. Нет, мой дорогой потомок Аристотеля! Браслет я вам все-таки не отдам. Итальянцы не сумели уберечь Аристотеля, поэтому не могут рассчитывать и на его наследство... Тем более у нас самих есть что выпрямить... Если вы сумеете разобраться в этих черных царапинах — поезжайте в Самарканд. Там накренился минарет большой мечети, которую собираются отвести под школу. Его скрепили стальным обручем, но, конечно, он рухнет... Биржа или школа, мой друг, — тут нечего выбирать!..

И, вытянув из руки Боба магический браслет, Мамочкин бережно засунул его в карман своего пиджачишки...

Они двинулись дальше по темному краю пещеры. Позднее Мамочкин так и не смог восстановить маршрута этого пути. Это, конечно, были не ходы, прорытые царями... Они были так тесны и узки, что напоминали запу танные кротовьи лазы. Местами головы упирались в потолки, исследователи опускались тогда на колени и ползли...

Так проникли они в закрытый глухой тоннель и подошли к камере, которая была прикрыта ржавой массивной дверью, по внешнему виду напоминавшей царские врата в церквах...

— Так вот оно, неведомое сокровище! — закричал диким от радости голосом археолог. Он выпрямился во весь свой костлявый рост. Он был могуществен в этот момент. Его глаза в щетине бровей и бороды горели, как два факела. И руки дрожали крупной радостной дрожью.

— Ломать двери! — вскричал он, бросаясь с лопатой на дверь, как на врага.

Дверь была только прикрыта. Она легко поддалась под нечеловеческим напором трех обезумевших от радости людей. И когда исследователи, словно индейцы, нападающие на лагерь врагов, с криком ворвались в камеру, сплошь выложенную мягковатым мячковским камнем,

они увидели окованные сундуки, наставленные один на другой почти до потолка. Часть сундуков, к левому краю от двери, была действительно засыпана обвалом потолка, Макарьев не ошибался. Первый, ближайший сундук они с бешенством разбили лопатами, крышка хлюпнула и подалась, и в фонарях яркой игрой блеснуло в глаза исследователей золото. Это были книги, оправленные в золотые переплеты...

Минут пять спустя археолог, вывалянный в пыли, еще крепче, чем некогда он был вывалян молочницей в сметане, по-турецки сидел на земле, а Боб и Дротов взламывали один за другим ящики, подавали ему книги в тугих переплетах из золота, и тут же археолог проглядывал заглавие каждой из них, от жадности забыв даже про свою археологическую записную книжку и карандаш... Тут оказались: Пиндаровы песнопения, Аристофановы комедии, Гелиодоров эротический роман «Эфиопика», Поливневы «Истории», Гефеотионова «География», Замолеи, Ефанов — перевод Пандектов, Левиевы, Саллустиевы и Юстиновы «Истории», Цезаревы записки о Галльской войне и Кедровы эпиталамы, Цицеронова книга о республике, Виргилиевы «Энеиды» и «Идиллии», Калвовы речи и поэмы, книга римских законов, кодексы Юстиниана, Феодосия, Федора Заморета и сотни других книг, которые остались только в единственном экземпляре во всем мире, о существовании которых историки только догадывались, не смея даже предположить, существовали ли когда-нибудь они на самом деле. Старый скопидом Иван Грозный владел воистину неоценимым сокровищем, и недаром он запрятал его так глубоко под землю...

— Ну и что! — вспомнил вдруг археолог, подымая голову от огромной книги, тонкие пергаментные листы которой он только что с величайшим вниманием рассматривал. Кто же был прав? Забелин, писавший, что библиотека погибла при пожаре Москвы в шестнадцатом столетии, или Тремер и Соболевский, бесстрашно ломавшие копья в защиту ее существования?

В воскресенье на площади Свердлова, часов в десять утра — когда жизнь начинает закипать полуденной горячкой, а на скверах сотни нянек цыкают на ребят, ко-

пающихся в песке, гудят трамваи, носятся, воняя пылью, автомобили, а под ГУМом уже продают бюстгальтеры и духи и какой-то господин в облезлой шапке и сегодня, как вчера, басом уверяет прохожих, что бинокль — необходимый в каждом хозяйстве предмет, — можно было наблюдать довольно странную процессию.

К Историческому музею подвигались в затылок три человека. Впереди выступал археолог Мамочкин в боевом шишаке времен Ивана Третьего; поверх его люстринового пиджачишки был подпоясан огромный меч, из карманов его торчали берцовые человеческие кости, а под мышкой — эротический роман Гелиодора «Эфиопика». За ним, как верблюды, вышагивали Дротов и Боб, волочившие огромные мешки черепов, обрывков ржавых цепей и странных книг переплетенных в золото...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ,

В КОТОРОЙ ВСЕ РАЗРЕШАЕТСЯ...

В тот день мальчишки надрывались, вопя у трамваев, у вокзалов, носясь по улицам со скоростью подстреленных воробьев:

— Тайна подземной Москвы раскрыта!

— Только десять копеек!

— Вот она, тайна подземной Москвы!

На столбах наскоро наклеивали громадные афиши о лекции археолога Мамочкина. Конная милиция оцепила штаб концессионеров на Софийке.

На площадках трамваев, даже в тот момент когда им выдавливали кишки, а карманники и дважды и трижды заправляли пальцы в уже опустошенные карманы, — москвичи удивлялись сверхъестественным новостям. И если один начинал:

— Вы слышали о...

— ...подземной экспедиции, — добавлял другой

Во всех отделениях ГУМа, кооперативах и даже в палатках частных торговцев в этот день пала производительность труда не меньше чем на пятьдесят процентов. Словом, это был совершенно невероятный день. Даже в по-

сольстве, где еще с утра было получено печальное известие о смерти гражданина Фредерико Главича, посол прежде поторопился уведомить свое правительство о важных находках, сделанных русской экспедицией в московских подземельях, а уже потом распорядился отправить тело Главича в Америку, так как ко всему этому он оказался еще гражданином штата Иллинойс, а все американские граждане, где бы они ни испустили дух, подлежат обязательному погребению на американской земле...

К оранжеватому домику на Никитской, в той ее части, где еще тенисты сады и негулок шум трамваев, часов с двенадцати начиналось пешее и конное паломничество любопытных, желавших лично убедиться в чудесах, рассказанных сегодняшними утренними газетами. На заводе «Динамо» под воротами было сегодня пусто, но афиша стенной газеты — ее успели вывесить у входа — объясняла такое ненормальное затишье: на заводе шла лекция товарища Арсения Дротова, участника экспедиции в московское подземелье. И флаг, красный с черной, траурной каймой, медлительно плескавшийся на ветру, всем, кто стремился из первоисточников услышать о столь поразительных вещах, напоминал о праздности любопытства.

Как раз в этот самый день, к величайшему моему сожалению, я не присутствовал в Москве. По этой причине я не посетил ни лекцию археолога Мамочкина, на которую, как говорят, еще в полдень не осталось ни одного даже самого маленького билета, ни доклада товарища Дротова, ни даже волнения москвичей мне не пришлось наблюдать лично. Я знаю, это — большая оплошность, моему роману недостает описания московских торжеств. Но виноват в этом приятель мой Василий Алексеевич Сеничкин, мельник из села Излово, у которого как раз в этот день, на виду у московских торжеств, прорвало мельницу...

Он с утра пустил воду, и мельница под окном ревела густым размеренным шумом, словно большой, уставший верблюд, а я сидел у окна и глядел, как по двору, прилипая лапами к весенней грязи, прохаживаются гуси, индюки, куры и всякая другая живность, включительно до большой измазанной свиньи, вышедшей на солнце почесать бок о перевернутую телегу... На этой самой мельнице, у окошка с фикусом, я и придумал все эти штуки

о подземной Москве. И конечно, у меня хватило бы изобретательных средств описать весь ход московских торжеств, если бы полчаса назад в комнату не ворвался мельник и не заорал в самое ухо:

Скорее! Скорее! Мельницу прорвало!

Сентябрь 1924 года
Село Излово, Мещанского уезда

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 3. *«Беднота»* — ежедневная крестьянская газета, издавалась в Москве в 1918—1931 гг.

С. 4. *Собакина башня* — до начала XVIII в. так называлась угловая Арсенальная башня Кремля, по примыкавшему к ней двору боярина Собакина.

С. 5. *Забелин* Иван Егорович (1820—1908) — историк, археолог, москвовед, один из создателей и фактический руководитель Исторического музея в Москве.

Максим Грек (настоящее имя Михаил Триволис) (ок. 1475—1556) — греческий церковный деятель, монах, публицист, писатель, переводчик, филолог. С 1518 г. жил в России. Был близок к церковной оппозиции.

Аркудий (XVII в.) — католический миссионер, иезуит, агент папы римского. *Сапега* Казимир Лев (1609—1656) — литовский магнат, участник русско-польской войны 1654—1667 гг. *Паисий Лигарид* (1610—1678) — митрополит газский, доктор богословия, в 1662 г. прибыл в Россию, участвовал в борьбе царя Алексея Михайловича против патриарха Никона, был тайным агентом папы римского.

Дабелов Христофор Христиан (1768—1830) — немецкий юрист. С 1819 г. — профессор в Дерптском университете. *Клоссиус* Вальтер Фридрих (1795—1838) — юрист, профессор. Занимался поисками в России латинских и греческих рукописей, преимущественно юридического содержания. *Тремер* Эдуард — немецкий ученый, специалист по древнегреческой литературе.

Соболевский Алексей Иванович (1856/57—1929) — советский филолог, академик. Занимался изучением древнерусской письменности, палеографии, топонимики, истории древнерусского искусства. *Щербатов* Николай Сергеевич (1853—1929) — директор Исторического музея в

Москве. *Стеллецкий* Игнатий Яковлевич (1878—1949) — историк, археолог, много занимался поисками библиотеки Ивана Грозного.

С. 7. *Шамин* Николай Андреевич (1862—1933) — писатель, гласный Московской городской думы, занимался историей Москвы.

«Арго» Язона — в греческой мифологии герой Язон со своими друзьями отправился на корабле «Арго» в Колхиду и добыл золотое руно.

Медея — дочь колхидского царя Ээта, полюбившая Язона.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — историк, публицист, автор книги «Разыскания о начале Руси», противник норманнской теории.

С. 8. *Анучин* Дмитрий Николаевич (1843—1923) — русский антрополог, географ, этнограф и археолог, академик.

Брюсов Александр Яковлевич (1885—1966) — советский археолог, младший брат поэта В. Я. Брюсова.

...нанос эолового... происхождения. — Эоловые отложения — песчаные и глинистые отложения, образованные из нанесенных ветром частиц.

С. 9. *Рагуза* — латинское название города Дубровник (Югославия); основана в VII в., была заселена славянами. В средние века была центром аристократической городской республики.

С. 10. *Апулей* (ок. 125 — ок. 180) — древнеримский писатель, автор авантюрно-сказочного романа «Золотой осел».

Герострат — грек из г. Эфеса. Чтобы прославиться, сжег в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской (одно из «семи чудес света»).

С. 13. *Гогенцоллерны* — династия бранденбургских курфюрстов (1415—1701), прусских королей (1701—1918), германских императоров (1871—1918).

С. 14. *Бедекер* Карл (1801—1859) — немецкий издатель, в 1827 г. основал издательство путеводителей по разным странам.

С. 17. *...мужики из сквера Лермонтова...* — в этом сквере находилась биржа безработных крестьян-отходников.

«Снегири» — московское прозвище милиционеров.

С. 20. *«Котлетки»* — бакенбарды котлетами.

С. 28. *МОПР* — Международная организация помощи борцам революции, существовала в 1922—1947 гг.

С. 33. *Перновский архив* — архив города Пярну, в котором профессором Дабеловым был обнаружен список книг библиотеки Ивана Грозного; в 1914 г. этот список, по его рассказу, видел Стеллецкий.

С. 35. *Грабарь* Игорь Эммануилович (1871—1960) — русский советский живописец, искусствовед, руководитель издания первой научной «Истории русского искусства».

Солари Пьетро Антонио (после 1450—1493) — итальянский архи-

тектор. С 1490 г. работал в России. Участвовал в строительстве кремлевских стен и башен. *Руф* (Руффо) — Марк Фрязин (конец XV — начало XVI в.) — итальянский архитектор, один из строителей кремлевских стен и башен. *Алевиз* Новый (конец XV— начало XVI в.) — итальянский архитектор, построил Архангельский собор в Московском Кремле в 1505—1550 гг.

С. 36. *Магомет* (Мехмед) *II* (1451—1481) — турецкий султан. *Матвей Корвин* (1443—1490) — венгерский король; присоединил земли Моравии и Силезии, занял большую часть австрийских владений. Установил дипломатические отношения с Россией.

Калигула (12—41) — римский император; требовал себе почестей, как богу.

С. 36. *...горделивая надпись на Спасской башне...* — белокаменные доски на русском и латинском языках о том, что башня построена по повелению Ивана III; «горделивость» заключается в том, что в них Иван III назван «всея России государь».

С. 40. *Мячковский камень* — белый камень, добывавшийся под Москвой и отличавшийся особой прочностью.

С. 44. *Петрей* Петр (1570—1622) — шведский дворянин, дипломат, автор сочинения «История о Великом княжестве Московском, происхождении великих русских князей...». *Шашков* Серафим Серафимович (1841—1882) — русский историк, публицист.

С. 46. *Девушка из Веймара* — Лотта, героиня романа Гёте «Страдания молодого Вертера».

С. 49. *Гайдамаки* — участники народно-освободительного движения на Правобережной Украине в XVIII в.

Гонта Иван (ум. 1768) — крепостной крестьянин, участник движения гайдамаков, один из руководителей «Колиивщины» — крестьянского восстания против польской шляхты (1768). *Железняк* Максим (ум. в нач. 1740-х) — запорожский казак, один из руководителей «Колиивщины».

С. 50. *Ольвия* (Борисфен) — античный город (VI в. до. н. э. — IV в. н. э.) на берегу Днепро-Бугского лимана; *Тясьмень* (Тясмин) — река в Киевской губернии (современная Черкасская обл.); *Холодный Яр* — пункты, в которых Стеллецкий вел археологические раскопки.

С. 56. *Ара* — сокр. от «American Relief Administration» — «Американская администрация помощи», существовала в 1919—1923 гг. Своей задачей провозгласила оказание помощи европейским странам, пострадавшим во время первой мировой войны.

С. 63. *Горсей* Джером (ум. после 1626) — английский путешественник, в конце XVI в. был в России, автор «Записок о Московии». *Флетчер* Джильс (1548—1611) — английский дипломат, в 1586—1589 гг.— посол в Москве, автор сочинения «О государстве русском».

Штаден Генрих (род. ок. 1542) — немецкий авантюрист, жил в России в 1564—1576 гг.; был опричником, автор записок «О Москве Ивана Грозного».

С. 65. *Олеарий* Адам (1603—1671) — немецкий путешественник, бывал в России в 30-е гг. XVII в.; автор «Описания путешествия в Московию».

С. 66. *Певг* — хвойное дерево, возможно, пихта.

С. 67. *Симеон* Бекбулатович (ум. 1616) — касимовский крещеный хан. Номинальный правитель Русского государства с 1575 г.

С. 70. *Герберштейн* Зигмунд (1486—1566) — немецкий дипломат; бывал в России в 1517, 1526 гг.; автор «Записок о московских делах».

С. 85. *Берсалино* — фасон шляпы.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Алексеев Глеб Васильевич

ПОДЗЕМНАЯ МОСКВА

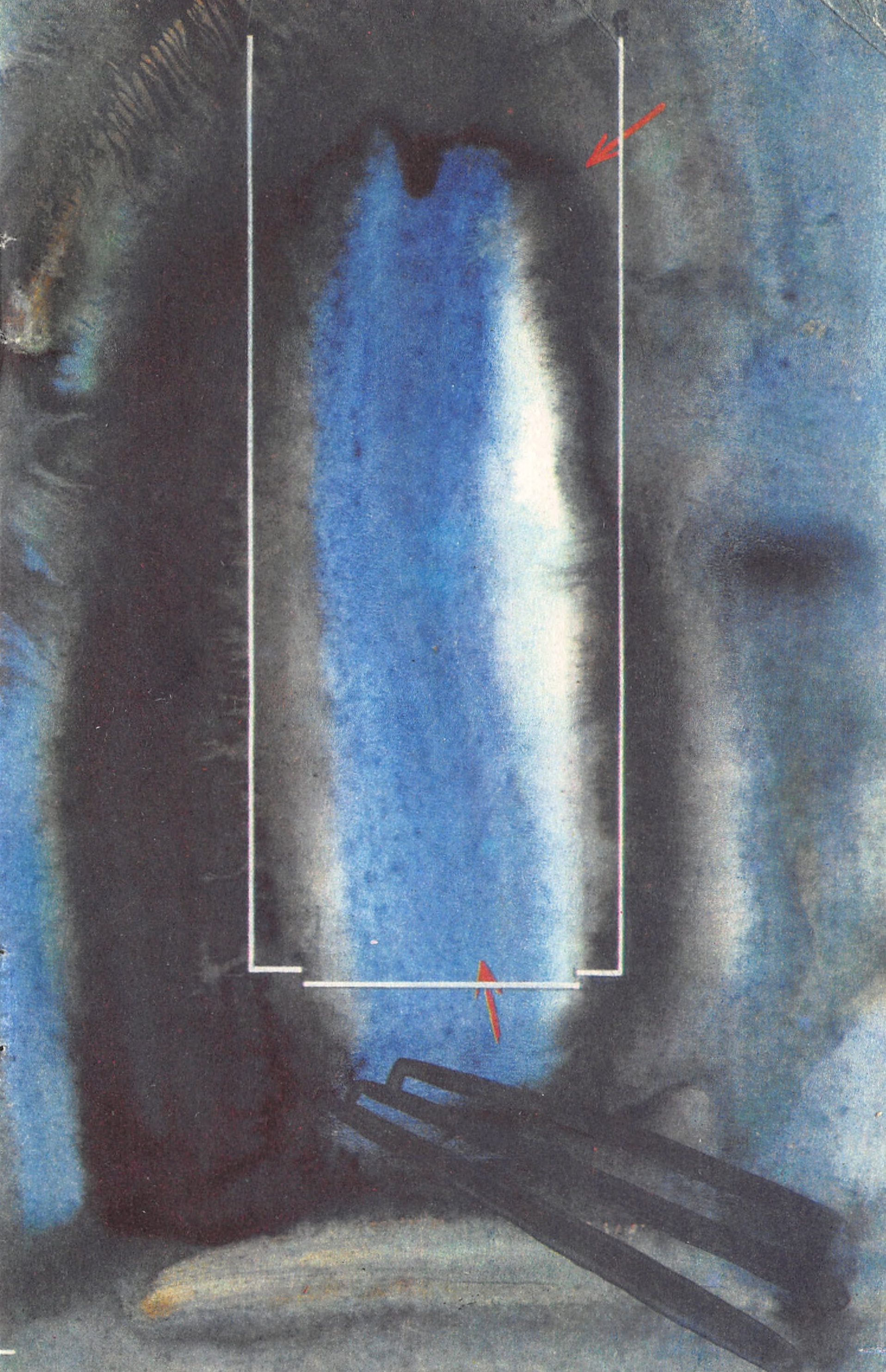
Роман

Редактор О. И. ГОЛЕВА
Художественный редактор О. Г. ЧЕРВЕЦОВА
Технический редактор Н. В. ГАНИНА
Корректор Г. А. НОСОВА

ИБ № 6244
Сдано в набор 6.09.90. Подписано к печати 25.03.91. Формат 84X108 1/32. Гарнитура об. новая. Печать высокая. Бумага газетная. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,88. Уч.-изд л. 4,97. Тираж 300 000 экз. Заказ 361. Цена 80 коп.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30




80 коп.